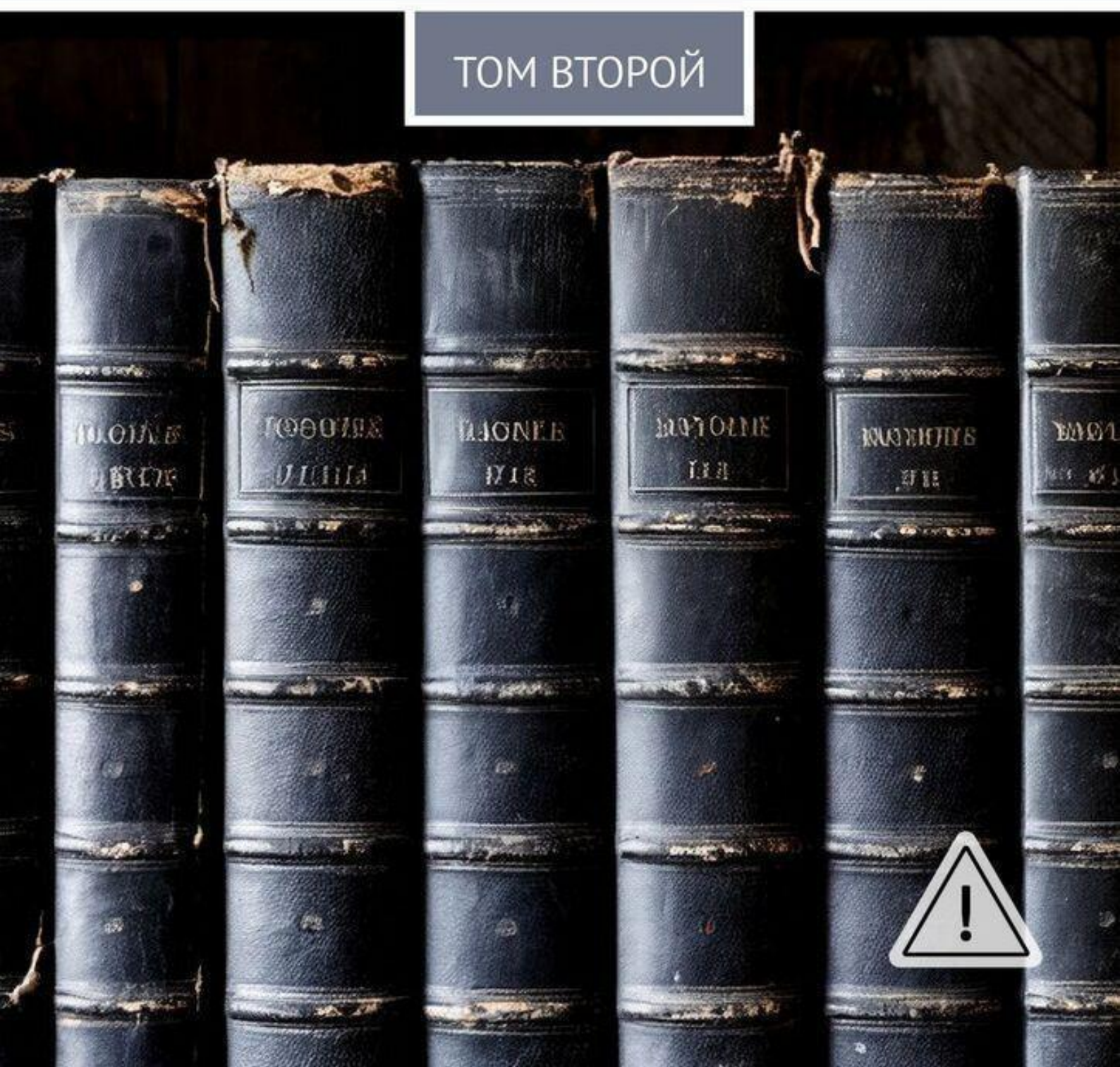


18+

ЛЕОНИД КАРПОВ

Всемирная история: грязная и вонючая

ТОМ ВТОРОЙ



Леонид Карпов

**Всемирная история: грязная
и вонючая. Том второй**

«Издательские решения»

Карпов Л.

Всемирная история: грязная и вонючая. Том второй /
Л. Карпов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-700222-6

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В этом сборнике великое тонет в бытовом соре.
Шествия пророков прерываются приступом кашля, а явление искусственного
интеллекта тонет в спорах из-за невымытых полов. «Всемирная история» —
это изнанка бытия, вывернутая швами наружу: гнойная, нелепая и до боли
знакомая. Пока в небе зажигаются новые смыслы, на земле все так же скрипят
костыли и дымит протухшая похлебка. Рассказы о том, как человечество
упорно строит храм, а в итоге получается тесная коммуналка с подтекающим
краном.

ISBN 978-5-00-700222-6

© Карпов Л.
© Издательские решения

Содержание

Библейское сотворение мира	7
Сотворение Адама и Евы	8
Изгнание из Рая	9
Всемирный потоп	10
Разделение языков при строительстве Вавилонской башни	11
Дарование Десяти заповедей на горе Синай	13
Основание ордена Розенкрейцеров	14
Петер Минёйт покупает Манхэттен	16
Строительство собора Святого Петра	17
Строительство Тадж-Махала	19
Суд над Галилео Галилеем	20
«Рассуждение о методе» Декарта	21
Битва при Рокруа: гибель «испанских терций»	22
Казнь Карла I Стюарта	24
Появление первых бумажных денег в Европе	25
Открытие Стоунхенджа	26
Первое переливание крови человеку	27
Казнь Степана Разина	28
Басё публикует первые сборники хокку	29
Смерть Мольера на сцене	31
Впервые измерена скорость света	32
Снятие осады Вены Яном Собеским	33
Смерть композитора Жана-Батиста Люлли	34
Публикация «Начал» Исаака Ньютона	35
Выход труда «Опыт о человеческом разумении» Локка	36
Процесс над салемами ведьмами	38
Открытие Лондонской биржи	39
Царевна Софья — узница Новодевичьего монастыря	40
Истребление додо (дронта)	42
Самосожжение 47 ронинов	43
Основание Санкт-Петербурга	44
Галлей и его комета	45
Появление секундной стрелки на часах	46
Корабль «Сан-Хосе» — самый богатый клад в истории	47
Полтавская битва	48
Спор Ньютона и Лейбница о приоритете	49
Паровая машина Ньюкомена	50
Предательство принца Алексея	51
Первое собрание Великой ложи Англии	52
Издание «Путешествия Гулливера» Свифта	53
Ледяная свадьба Анны Иоанновны	54
«Великая северная экспедиция» Витуса Беринга	55
Появление шкалы Цельсия	56
Битва при Фонтенуа	57
Спор Ломоносова с Миллером	58
Возникновение системы Линнея	60

Великое Лиссабонское землетрясение	61
Афера графа Сен-Жермена при дворе Людовика XV	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Всемирная история: грязная и вонючая Том второй

Леонид Карпов

© Леонид Карпов, 2026

ISBN 978-5-0070-0222-6 (т. 2)

ISBN 978-5-0070-0217-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Библейское сотворение мира

Условно — 23 октября 4004 г. до н. э. (согласно хронологии епископа Ашиера)

По этой версии, Бог начал творить Вселенную именно в этот воскресный вечер. Самый пафосный момент в истории бытия.

Вязкая, сизая сумерь выкипела из пустоты, как прогорклая овсянка. На календаре, которого еще нет, значится воскресенье, двадцать третье октября. По гнилому безвременью разносится чавканье, сопение и дребезг невидимых медных тазов.

В начале было не Слово, а кашель. Натужный, с привкусом сырой земли и ржавчины. Творец, невидимый в этой кисельной гуще, сморкается в кулак, и от этого жеста в разные стороны разлетаются туманные ошметки — будущие туманности Андромеды и прочий звездный сор. Пахнет прелыми тряпками, пролитым уксусом и немытым телом.

— Да будет, — хрипит Он, и голос Его тонет в гомоне нерожденных херувимов, которые уже толкаются локтями в тесноте, сморкаются в подолы и пихают друг друга под ребра.

Свет не ликует. Он просачивается неохотно, желтушный, как моча больного старика. Этот свет освещает только грязь под ногтями мироздания и бесконечные ряды пустых ведер. Внизу, в жирной жиже, копошатся какие-то белесые гады — еще не рыбы, но уже с тоскливыми человеческими глазами. Они задыхаются в первородном иле, разевая рты в беззвучном крике.

Кто-то невидимый в углу бытия долго и нудно мочится в жестяное корыто. Звук гулкий, раздражающий.

Пафос момента зашкаливает: Бог, чертыхаясь, пытается разделить свет от тьмы, но они слиплись, как непропеченное тесто. Он тянет их в разные стороны, жилы на Его руках вздуваются, с подоконника Вселенной падает облупленная чашка и разбивается вдребезги — так рождается время.

— Трудно быть Богом! — вздыхает Он, вытирая пот со лба.

Повсюду — теснота. Небесная твердь оказывается низким, закопченным потолком, с которого капает соленая влага. Дух Божий носится над водою, но делает это как-то боком, неуклюже, задевая крылом развешанное на просушку белье вечности. Из рта у Него идет пар. Первые сутки подходят к концу в липком кошмаре самозарождающейся материи, где каждый атом уже заранее виноват и смердит будущим тленом.

Это был вечер первый. Воскресенье. Впереди — целая неделя такой же нелепой, потной и бессмысленной возни.

Сотворение Адама и Евы

Условно — 28 октября 4004 года до н. э. (по хронологии епископа Ашера)

Согласно Книге Бытия, это произошло в финале недели Творения. Бог вдыхает «дыхание жизни» в прах земной, и человек становится «душою живой». Это акт наделения материи искрой Божества. В отличие от всех остальных существ, человек создается «по образу и подобию». Это момент высшего предназначения: человек поставлен владыкой над всем миром, но в то же время несет бремя свободы выбора.

Двадцать восьмое октября. Год четыре тысячи четвертый до начала всей этой чехарды, если верить какому-то будущему епископу с водянистыми глазами. Суббота, кажется. Или пятница? Впрочем, какая разница, если время еще не успело протухнуть.

Воздух густой, как неснятые сливки, перемешанные с известковой пылью. Пахнет сырой рыбой, прелой соломой и чем-то невыносимо чистым, отчего тянет сплюнуть. С неба валится серый, липкий туман, обволакивая недоделанные скалы и тощих, еще не пришедших в себя птеродактилей, которые неуклюже хлопают кожистыми крыльями, влипая в грязь.

В центре этого месива — Творец. Он огромен, неопрятен, в заляпанном чем-то буром хитоне, рукава засучены по локоть. Из кармана торчит обгрызанное яблоко — видимо, заготовка. Он тяжело дышит, от него веет озоном и чесноком.

— Подавай! — сипит Он в пустоту.

Под ногами копошится прах. Это не благородная глина из мифов, а жирное, черное звериное говно, полное навозных червей и перетертых в труху ракушек. Господь запускает в этот кисель свои заскорузлые пальцы, долго шарит там, выуживая комья, лепит что-то длинное, костлявое, с выпирающими ребрами.

Вот оно ложится в лужу — Первый. Бледное, беззащитное, с синеватыми прожилками на веках. Лицо у него растерянное, словно ему уже пообещали ипотеку и вечные муки. Господь наклоняется низко-низко, Его седая борода окунается в жижу, щекоча бесчувственный нос Творения.

— Дыши, паршивец, — ворчит Демиург.

Короткий, резкий выдох — как удар кузнечного меха. «Дыхание жизни» влетает в ноздри Адама вместе с парой случайных мух. Тот вздрагивает, заходится в сухом, лающем кашле, выплевывая слизь. В глазах — сразу, без подготовки — загорается этот жуткий, нечеловеческий блеск искры Божества. Образ и подобие, понимаешь ли. Сразу видно: будет врать, красть и строить соборы из коровьего навоза.

— Владычествуй, — Господь вытирает руки о подол. — Над рыбами морскими, над гадами... Вон тот гад, видишь? Не ешь его. Или ешь. У тебя же свобода выбора, черт бы тебя подрал.

Рядом, из того же дерьма и какого-то лишнего ребра, уже вылупляется Вторая. Она голая, озябшая, с волосами, перепачканными в торфе. Смотрит на Адама с глубоким, исконным подозрением. Адам пытается встать, скользит в грязи, цепляется за хвост пробегающего мимо единорога. Единорог харкает желчью и брыкается.

— Ну, — Творец чешет затылок, глядя на свое отражение в зрачках человека. — Поехали. Теперь сами.

Он отворачивается и уходит в туман, тяжело волоча ноги. В спину Ему несется первый человеческий звук — не молитва, не псалом, а утробное, клаустрофобное рычание от осознания того, что впереди — целая вечность, а присесть решительно некуда.

Над миром повисает гнетущая тишина, прерываемая лишь чавканьем сонных зверей и далеким, отчетливым скрипом еще не изобретенной гильотины. В кустах кто-то громко, с наслаждением сплюнул. История хомно сапиенсов началась.

Изгнание из Рая

Условно — 10 ноября 4004 г. до н. э. (по некоторым трактовкам хронологии Ашера)
Момент, когда первые люди переступили порог Эдема и началась «человеческая история» в муках и труде. Пик трагического пафоса.

Вязкий, серый кисель тумана облепил лопухи размером с могильную плиту. Где-то в глубине сада, за спиной, чавкало и хлюпало — то ли перезрелый плод рухнул в жирную грязь, то ли невидимая тварь со стоном пережевывала собственное копыто. Пахло прокисшим молоком, сырой шерстью и застарелым потом Бога.

Адам шел первым. На затылке у него вздулся багровый чирей, а из пор вместе с испариной лезла какая-то серая труха. Он споткнулся о корягу, похожую на скрюченную человеческую голень, и долго, надривно харкал в лужу, в которой плавали объедки вечности.

Ева тащилась следом, вцепившись пальцами в его облезлую шкуру. У нее из носа текла тонкая нитка сукровицы, а в спутанных волосах застрял дохлый шмель. Она не плакала — в горле застрял комок из непереваренной мудрости и сырой земли.

— Ну? — прохрипел Адам, оборачиваясь. Лицо его в сумерках казалось маской из плохо пропеченного теста. — Все?

Сзади, над невидимой границей, висел звук: не то скрежет ржавого железа о кость, не то кашель Херувима, задыхающегося в облаке собственной святости. Пламенный меч не горел, а чадил, выплевывая жирную копоть, которая садилась на их голые плечи.

Они вывалились за предел.

Здесь сразу стало холодно и мелко. Вместо золотого света — гнилая хмарь. Под ногами захрустели не камни, а мелкие, острые ракушки вперемешку с чьими-то зубами. Адам посмотрел на свои ладони: линии на них вдруг почернели, углубились, забились грязью — так прорастает первый чертеж будущей пашни.

— Работать... — выдохнул он, и это слово вылетело изо рта тяжелым, осклизлым комком.

Ева присела на корточки в жижу. Ее начало рвать чем-то желтым, искрящимся — остатками райского нектара, который теперь превращался в обычную желчь. Мимо, не обращая на них внимания, проковыляла облезлая собака с шестью лапами, волоча за собой обрывок пуповины.

История началась. Она пахла железом, мочой и неизбежностью. Адам поднял с земли кривую палку, взвесил ее в руке и посмотрел на Еву с внезапной, тупой злобой. Та в ответ оскалилась, вытирая рот тыльной стороной ладони.

В небе над ними, в разрыве туч, мелькнуло что-то огромное и равнодушное, похожее на грязную пятку, и тут же скрылось в непроглядной серости. Пошел дождь — колючий, смешанный с пеплом, окончательно стирая грань между небом и навозной кучей.

Всемирный потоп

Условно — 2348 г. до н. э. (согласно хронологии епископа Ашера)

Согласно Книге Бытия, в этот день «разверзлись все источники великой бездны», и Ной затворил двери ковчега. Момент гибели старого мира.

Небо не упало — оно просто стало плотным, как сырой кисель, перемешанный со ржавчиной. В воздухе стояла взвесь из рыбьей чешуи, навоза и копоты. Семнадцатый день. Месяц второй. Числа застряли в горле, как непережеванный хрящ.

Ной, в засаленном тулупе поверх голого тела, ковырял в ухе обломком лучины. У него болели зубы, а от вечного гула в костях зудело так, будто по ним ползали вши. Грязь была везде: в складках кожи, под ногтями, в молитвах.

— Захлопывай! — прохрипел кто-то невидимый, захлебываясь кашлем и слизью.

Снаружи, за ребрами гофера, мир пучился и лопался. Источники бездны разверзлись не величественным фонтаном, а постыдной, чавкающей жижей. Земля выплевывала из себя все, что копила веками: дохлых крыс, обломки колесниц, чьи-то немытые пятки и забытых богов. Вода шла снизу, серая, зловонная, перемешанная с нефтью и грехом.

Огромная дверь ковчега, обмазанная вонючей смолой, неохотно поползла вверх. В щель было видно, как по колено в бурлящем месиве бредет слепой старик, прижимая к груди облезлую курицу. Курица орала. Старик молчал, выпучив бельма на немую небесную твердь.

— Не лезь! Мест нет! — взвизгнул Хам, пиная сапогом чью-то скользкую руку, ухватившуюся за порог.

Пальцы хрустнули, как сухие ветки. Рука исчезла в пузырящейся воронке.

Внутри ковчега стоял невыносимый смрад живого зоопарка. Слоны трубили в полутьме, обдавая проходы горячим паром из хоботов; жирафы испуганно перебирали ногами, стуча копытами по настилу. В углу, под перевернутым чаном, тихо скулил Сим, обнимая жену, у которой от ужаса начался понос.

Дверь ухнула, отсекая свет. Засов лязгнул — окончательно, как приговор в подвале. Наступила тишина, прерываемая лишь чавканьем воды снаружи и утробным ворчанием леопарда где-то в темноте трюма.

— Господи, — пробормотал Ной, пытаясь нащупать в кармане засохшую корку хлеба. — Господи, ну и вонь.

Он прислонился лбом к мокрой стене. Старый мир, со всеми его ярмарками, бабами, долгами и пьяными драками, растворялся в гнилом бульоне. Осталась только эта тесная, качающаяся коробка, полная навоза и избранных. Где-то высоко вверху, за слоями туч, Бог, верно, безгласно вытирал руки о полотенце.

Вода ударила в днище. Ковчег вздрогнул, качнулся и, тяжело оторвавшись от земли, поплыл в никуда.

Разделение языков при строительстве Вавилонской башни

Условно — 2247 г. до н. э. (согласно хронологии епископа Ашера)

День, когда единое человечество внезапно перестало понимать друг друга. Конец великой стройки и начало разделения на народы.

Слякоть под ногами перемешана с рубленой соломой, ослиной мочой и несвежей известью. Небо — серая дерюга, провисшая под тяжестью невидимых богов. В воздухе висит кислый дух немых тел и горелой шерсти. Башня, этот чешуйчатый нарост на теле пустыни, уходит вверх, в белесое ничто, чавкая лесами и поскрипывая канатами.

Утром было как всегда. Архитектор Барух, сморкающийся в ладонь, орал на каменщиков. Те привычно лаяли в ответ, требуя еще дегтя и сушеной рыбы. Все было понятно. Мир был спаян общим матом и единым страхом перед высотой.

Перелом случился в полдень, когда солнце, спрятанное за тучами, едва обозначило зенит.

— Эй, ты, сиволапый! — крикнул Барух десятнику, тыча пальцем в треснувшую плиту. — Подавай жижу, сволочь, застынет же!

Десятник замер. Лицо его, густо облепленное пылью и мушиным пометом, вдруг вытянулось. Он открыл рот, из которого вывалился не звук, а какая-то водянистая отрыжка:

— Глорх... мшу-мшу... арр-ка-так?

Барух сплюнул под сандалию десятника.

— Ты что, белены объелся? Подавай жижу, говорю!

— Пшик! — ответил десятник и вдруг, выпучив глаза, схватил архитектора за грудки. — Трен-тере-брень! Урху!

Вокруг зашевелилось. Стройка, эта огромная ворчащая машина, вдруг сбилась с ритма. Каменщик, стоящий на лесах выше, выронил ведро с раствором. Оно шлепнулось на голову носильщику, и тот, вместо привычного проклятия, завыл что-то гортанное, похожее на крик раненой чайки: «Ли-ло-ли! Ли-ло-ли!»

Начался хаос, лишенный логики, но исполненный звериной серьезности.

Люди тыкались друг в друга потными лбами, хватали соседа за уши, пытаясь вытрясти из него знакомый слог. Кто-то пытался рисовать на песке, но песок был слишком мокрым, а пальцы — слишком дрожащими. Один старик в грязной тоге опустился на колени и стал методично биться головой о необожженный кирпич, выкрикивая: «Абабагаламага!»

— Что вы несете, выродки?! — вопил Барух, отбиваясь от десятника циркулем. — Кровь, песок, лопата! Лопата, мать вашу!

Но его «лопата» для окружающих теперь звучала как шелест сухой травы. На него смотрели с подозрением, как на заморское насекомое.

К вечеру стройка окончательно захлебнулась в слюне и непонимании. Огромная туша Башни стояла мертвой. На ярусах вспыхивали драки — не из-за хлеба или женщин, а из-за того, что один сказал «брр», а другой услышал «ку». Те, кто еще утром вместе тянули канат, теперь тыкали друг в друга заточенными колями, испуганные чужим, лающим звуком, исходящим из человеческого горла.

Барух сидел на куче щебня. Рядом пробежал голый мальчик, волоча за собой дохлую кошку и бормоча: «Зинзивер, зинзивер...»

Архитектор посмотрел наверх. Там, в тумане, недостроенная верхушка Башни казалась обрубленным пальцем, указующим на абсолютное одиночество. Единое человечество развалилось на тысячи мелких, вонючих, испуганных стад. Теперь каждый сидел в своей звуковой скорлупе.

— Тьфу, — сказал Барух. Это был единственный звук, который все еще понимали все.

Он встал и, прихрамывая, побрел прочь от стройки, в густую серую мглу, туда, где уже начинали формироваться первые границы, первые флаги и первые оправдания для будущих войн. Под ногами хлюпала история, пахнувшая навозом и безнадежностью.

Дарование Десяти заповедей на горе Синай

6-й день месяца Сиван, около 1312 г. до н. э.

Пророк Моисей спускается к народу с каменными скрижалями. Момент рождения морального кодекса западной цивилизации.

Внизу, у подошвы, копошилось месиво. Шестой день сивана выдался липким, густым от испарений немых тел и козьего помета. Небо над Синаем не сияло — оно нависло гнилым серым брюхом, роняя на камни то ли пепел, то ли мокрую сажу.

Старик спускался медленно. Его ступни, растрескавшиеся до живого мяса, хлюпали в жижу, образовавшейся из пыли и пролитой жертвенной крови. На плече он пер две каменные плиты — неотесанные, тяжелые, похожие на надгробия захудалого провинциального кладбища. Камень въедался в ключицу, крошился, серая пыль смешивалась с потом и текла по впадой груди, застревая в седых, свалившихся колтунах бороды.

— Дорогу! Да посторонитесь вы, черти! — сипел кто-то сбоку.

Мимо пронесли корыто с требухой. Какой-то косноязычный левит, путаясь в бесконечных засаленных тряпках, ткнул Моисея локтем в бок и тут же, не извинившись, принялся яростно чесать пах. Рядом вырвало верблюда. Желтая пена медленно обтекала сандалию пророка, а он стоял, прижав к себе скрижали, как украденный из лавки окорок.

Навстречу вывалился Аарон. Лицо его, лоснящееся от жира и страха, было вымазано в золотой пыли — видимо, только что облизывал пальцы после отливки истукана.

— Ну что там? — спросил Аарон, вытирая нос рукавом и шмыгая. — Дал?

— Дал, — Моисей выплюнул налипшую на губу муху. — Десять штук. Читать умеешь?

— Куда там... Народ волнуется, Мойша. Гул стоит. Требуют подробностей по налогам и мясной части.

Они пробивались сквозь толпу, которая не расступалась, а всасывала их в себя. Лица лезли прямо в глаза: шербатые рты, гноящиеся веки, бородавки, поросшие жестким волосом. Пахло кислым вином, протухшим мясом и вечностью, которая на вкус оказалась как старая медь. Какой-то юродивый схватил Моисея за край хитона и начал долго, нудно сморкаться в освященную ткань.

— Вот, — Моисей швырнул одну плиту на плоский камень. Грохнуло тупо, без пафоса. — «Не прелюбодействуй».

В толпе кто-то горько и коротко хохотнул. Старая баба, сидевшая на корточках в луже, принялась методично бить ребенка по затылку сушеной рыбиной.

— А про воровство что? — выкрикнули из глубины, где кто-то в этот момент ловко срезал кошель с пояса соседа.

— Тоже нельзя, — отрезал старик, чувствуя, как по спине ползет вошь. — И про субботу нельзя. И имя все...

Он посмотрел на эти камни. Буквы, выцарапанные словно когтем гигантской птицы, казались нелепыми в этом хаосе обносков, окриков и чавканья. Это был кодекс. Начало великой морали. Но сейчас Моисею больше всего хотелось, чтобы кто-нибудь подал ему чистой воды обмыть ноги и чтобы это серое небо, наконец, перестало давить на темя своей невыносимой, пыльной тишиной.

Сзади опять заблеял телец. Золотой, нелепый, с кривой мордой. Народ потянулся к нему, толкаясь и ворча, обходя скрижали, как досадную помеху на дороге к корыту. Рождалась цивилизация — под хрип умирающего осла и чавканье толпы в грязи.

Основание ордена Розенкрейцеров

1614 г.

Публикация манифеста. Появление анонимного текста «Fama Fraternitatis». Момент, когда Европа сошла с ума от идеи существования тайного братства ученых-магов, обладающих секретом бессмертия и превращения металлов в золото.

В Касселе стояла такая жижа, что сапоги отрывались вместе с надеждами. По небу волокли серые, мокрые тюки облаков, из которых на черепичные крыши цедила кислая дрянь. Год тысяча шестьсот четырнадцатый от Рождества Христова выдался сопливым, чахоточным и бессмысленным.

По рынку, толкаясь локтями в чьи-то потные спины и мокрые меха, продирался аптекарь Ганс. У Ганса болело ухо, а в кармане хлюпала промокшая листовка. Вокруг орали. Какая-то баба с вывалившейся грудью совала прохожим дохлую курицу, а слепой старик в лохмотьях иступленно грыз край деревянного корыта.

— Вы слышали? — Ганс схватил за пуговицу проезжего дворянина, чей конь только что обдал всех вокруг веером черной грязи. — Христиан Розенкрейц! Гробницу вскрыли! Двести лет лежал, как живой, зубы белые, в руке книжка золотая!

Дворянин не ответил. Он пытался выковырять из зуба кусок жесткой солонины и меланхолично сплевывал под копыта.

А город уже пух. В трактире «У соленой сельди» было не продохнуть от пара, исходящего от мокрых плащей, и запаха прокисшего пива. На столе, среди обглоданных костей и луковых очистков, лежал он — «Fama Fraternitatis». Тонкий листок, отпечатанный на дешевой бумаге, уже заляпанный жирными пальцами.

— Невидимые! — хрипел горбун-печатник, брызгая слюной в лицо соседу. — Они среди нас! Маги! Ученые! У них есть эликсир. Пьешь — и хвост отваливается, а вместо него — вечная жизнь. И свинец в золото превращают прямо в кармане, только шепнуть надо!

Сосед, чesавший подмышку ржавой вилкой, вдруг замер. Его глаза, затянутые бельмами жадности, уставились в пустоту.

— А золото... оно какое? — спросил он тихо. — Настоящее? Или как у алхимика Фридриха, что в прошлом месяце на виселице обосрался?

— Чище солнца! — гаркнул горбун и уронил голову в тарелку с капустой.

Европа зачесалась. В Праге Рудольф, император с трясущимися руками, выгонял фавориток, чтобы искать в подвалах «Братьев». В Париже господа в напудренных париках лазили по сточным канавам, надеясь встретить тайного гонца. В Касселе же просто сошли с ума.

Какой-то студент в разодранной мантии взобрался на бочку и читал манифест, пока его не стащили за ноги, чтобы обворовать.

— «Мы, братья R.C., призываем к великой реформе!» — орал он, захлебываясь дождем. — «Долой невежество! Долой папу! Долой гнилые зубы!»

Прохожий в железном шлеме, на котором уютно устроилась куриная лапа, остановился, послушал и вдруг начал истово креститься чесночной головкой.

В воздухе пахло не серой и не ладаном. Пахло мокрым псом, дешевым вином и великим, окончательным отчаянием. Все искали Невидимых. Стучали в пустые стены, заглядывали под юбки нищенкам, караулили у городских ворот каждого, кто не вонял навозом.

А «Братья» молчали. Может, их и не было. А может, они сидели в этом самом трактире, в самом темном углу, где из дырявой крыши капало прямо в кружку, и тихо ржали, глядя, как мир, хлюпая сапогами в грязи, пытается нащупать дорогу в золотой век, которого никогда не существовало.

Ганс-аптекарь дополз до дома, заперся на все засовы и долго смотрел на кусок ржавого железа.

— Розенкрейц... — прошептал он и лизнул металл. На вкус было горько и отдавало мертвечиной.

Снаружи, в сером мареве Касселя, кто-то истошно закричал: «Вижу! Вижу невидимого!», и толпа с воем бросилась топтать кого-то в придорожной канаве. Шел великий 1614 год.

Петер Минейт покупает Манхэттен

1626 год

Голландец выкупил остров у индейцев за бусы и товары стоимостью около 60 гульденов (24 доллара). Пафос самой прибыльной и одновременно ироничной сделки в истории: на месте, купленном за безделушки, вырос главный финансовый центр планеты — Нью-Йорк.

Туман. Плотный, как несвежий творог, он липнет к небритым щекам, забивается в ноздри, пахнет гнилой сельдью и прелой овчиной. Под ногами чавкает сырая земля Острова Манна-хата, перемешанная с конским навозом и битой ракушкой.

Петер Минейт, грузный, в изъеденном молью камзоле, задыхается. Воротник впивается в шею, покрытую фурункулами. Он стоит в тумане, который можно резать ножом, если бы ножи здесь не тупились о сам воздух. Вокруг — хаос. Кто-то тащит за ногу дохлую свинью, кто-то харкает кровью в лужу, где плавает обрывок кружева.

Вожди племени — лица в саже и жире, глаза — щелки в масках из сырой кожи. Они не смотрят, они принюхиваются. Минейт лезет в сундук судорожно, словно ищет там не товар, а спасение от этой вечной сырости.

На свет божий извлекается дрянь. Стекляшки, мутные, как глаза утопленника. Бусы — синие, красные, дешевая радость венецианских помоек. Жестяные ножи, которые погнутся о первую же сосну. Все это пахнет ржавчиной и чужими выделениями. Шестьдесят гульденов. Цена обеда в приличном кабаке Амстердама, где сейчас, должно быть, тепло и пахнет корицей, а не этим первобытным перегноем.

— Берите, — хрипит Минейт, и изо рта у него вылетает комок желтой мокроты. — Остров теперь наш. Весь этот туман, эти гады в траве, эта безнадега — наша.

Один из индейцев берет нитку бус, пробует стекло на зуб, равнодушно кивает. В кустах кто-то истошно вопит — то ли птица, то ли человека доедают. Из тумана vyplывает оборванный солдат, тащит ведро с нечистотами, спотыкается, и все это летит на сапоги Минейта. Тот даже не вздрагивает.

Он смотрит туда, где сквозь серую муть угадываются очертания будущих скал. Там, где сейчас копошатся вшивые колонисты, воображение рисует не шпиль церквей, а огромные, давящие башни из холодного камня, внутри которых люди в чистых воротничках будут так же жадно грызть друг другу глотки за виртуальные бусы.

Сделка века совершена в навозе. Под хохот чашек и чавканье сапог, Минейт вытирает нос рукавом. Над Гудзоном висит тишина, тяжелая, как могильная плита, и только слышно, как где-то в будущем невидимый счетчик начинает свой сумасшедший бег, превращая эти стекляшки в миллиарды, пропитанные тем же самым первобытным потом.

Строительство собора Святого Петра

1506 — 1626 гг.

Грандиозный долгострой длиной в 120 лет. Момент, когда архитектура стала воплощением имперских амбиций церкви. Пафос в том, что в его создании участвовали все гении — от Браманте и Рафаэля до Микеланджело. Это памятник эпохе, которая не боялась строить на века, зная, что творцы не доживут до финала.

В Риме пахло кислым вином, мокрой шерстью и горелой костью. Дождь шел сорок лет подряд, или так казалось сквозь мутную взвесь, в которой вязли вопли мулов и кашель каменистых.

Старик Браманте, похожий на облезлого сыча в засаленной ермолке, тыкал костлявым пальцем в жирную грязь чертежа. Его палец оставлял глубокие борозды, которые тут же заполнялись желтоватой жижей.

— Здесь будет купол, — сипел он, выплевывая вместе со словами комки темной мокроты. — Купол, который придавит небо.

Микеланджело, вечно злой, с лицом, будто пережеванным сапогом, стоял рядом, вжав голову в плечи. У него за ушной раковиной застряла мраморная крошка, а от бороды несло несвежим чесноком. Он не смотрел на чертеж. Он смотрел, как два голых по пояс раба тащат по слизи обрубок травертина, а сверху на них испражняется испуганная чайка.

Время в Ватикане не текло — оно гнило.

Рафаэль промелькнул как надушенный призрак, мелькнул и исчез, оставив после себя лишь запах дорогого мыла и пятно алой крови на чистом платке. Его нежные руки не подходили для этого месива, где фундаменты жрали людей десятками, как бездонные утробы. Под будущим алтарем уже образовалось целое кладбище из тех, кто сорвался с лесов или просто заснул в известковой яме.

— Строим на века! — кричал какой-то кардинал, путаясь в тяжелых, пропитанных сыростью сутанах. Его щека дергалась в нервном тике, а за ним на веревочке волочился маленький облезлый шут, звеня ржавыми бубенцами. — Творцы умрут, а камень останется!

Микеланджело сплюнул под ноги кардиналу. Поднял с земли обглоданную баранью кость и принялся ковырять ею в зубах.

— Камень тоже сдохнет, — прохрипел он. — Просто он дольше разлагается.

Никто из них не надеялся увидеть финал. Это было коллективное самоубийство во имя имперского пафоса, растянутое на несколько поколений. Ватиканский холм пожирал жизни, золото и здравый смысл, превращая их в торжествующий, холодный и совершенно равнодушный к человеку триумф камня.

Прошло сто лет. Или двести. Лица сменились, но грязь осталась прежней. Кто-то забивал сваи, кто-то воровал свинец с крыши, кто-то молился в углу, прижавшись лбом к холодному, покрытому грибком мрамору. На лесах висели туши забитых свиней вперемешку с мокрым бельем. Огромный остов собора торчал из земли, как скелет допотопного чудовища, которое так и не смогло сдохнуть окончательно.

В центре этого хаоса, среди строительного мусора и застывших экскрементов, рождалось Величие. Оно было тяжелым, удушливым и совершенно равнодушным к тем, кто клал свою жизнь в его швы вместо раствора. Папа в золоченом паланкине проплывал мимо, зажимая нос платком, а внизу, в тени колоссальных колонн, калека-попрошайка пытался поймать жирную крысу, чтобы съесть ее сырой.

Когда в 1626 году все, наконец, закончилось, тишина была страшнее грохота. Огромное пространство собора выдыхало холод. Это был памятник не Богу и не вере, а великому человеческому упрямству и страху перед пустотой. Здание стояло, побелившее от извести и соле-

ного пота, а те, кто его замышлял, давно превратились в ту самую пыль, что теперь танцевала в редком луче света, пробившемся сквозь свинцовые тучи.

Строительство Тадж-Махала

17 июня 1631 г. (день смерти Мумтаз-Махал)

Шах Джахан велел воздвигнуть величайший памятник любви из белого мрамора в память о своей жене. Строительство, длившееся 22 года, стало легендой о преданности.

Воздух в Агре застыл, густой и серый, как клейстер. Он пахнет не специями, а прокисшим потом, коровьим навозом и мокрой известкой.

В сумерках покоев Мумтаз-Махал пахнет еще хуже — застарелой кровью и уксусом. Шах Джахан, чье лицо превратилось в изрытую морщинами маску из папье-маше, тычется небритой щекой в холодную руку жены. Она умерла, произведя на свет четырнадцатый плод, и теперь тишина в комнате кажется осязаемой, тяжелой, как мешок с мокрым песком.

Кто-то за ширмой громко выпускает газы, кто-то сморкается в подол расшитого золотом платья. Абсурдная суэта: евнух с перекошенным ртом пытается поймать муху, севшую на лоб покойной императрицы.

— Постройте... — выплевывает Джахан вместе с вязкой слюной. — Из камня. Чтобы белее, чем этот саван. Чтобы до самой луны воняло моей скорбью.

Проходит год, пять, десять. Грязь не просыхает. На берегу Джамны — месиво. Белый мрамор везут из Макраны на ободранных волах; животныедохнут, их туши гниют прямо на дорогах, вплетаясь в общую эстетику великой стройки. Тысячи костлявых полуголых людей барахтаются в известковом растворе. Слышно чавканье шагов по жиже и монотонный хруст костей — это быют тех, кто уронил резец.

Джахан ходит среди лесов, задевая плечом чьи-то потные спины. В проходах тесно, повсюду висят какие-то тряпки, кишки животных, капает мутная вода. Архитектор, старик с бельмом на глазу, пытается показать чертеж, но в лицо ему влетает дохлая курица, брошенная кем-то сверху.

— Геометрия, — бормочет старик, вытирая слизь с пергамента. — Симметрия, господин. Это будет рай на земле.

Рай выглядит как бесконечная пытка известковой пылью. Мрамор кусает глаза. Стены растут, облепляемые строительным мусором и человеческими испражнениями. Красота рождается из хрипа и нечистот. Джахан смотрит на купол: он ослепительно бел, но под ним, в тени, всегда кто-то кашляет кровью или догрызает гнилую корку.

Когда спустя двадцать два года последний камень встает на место, Шах Джахан понимает: памятник готов. Он так велик, что за ним не видно неба, и так холоден, что в его идеальных стенах хочется только одного — наконец-то перестать дышать этим тяжелым, пропитанным любовью и гнилью воздухом.

Суд над Галилео Галилеем

22 июня 1633 г.

В церкви Санта-Мария-сопра-Минерва великий ученый на коленях отрекся от своих взглядов на движение Земли. Легенда гласит, что, уходя, он прошептал: «И все-таки она вертится!» (Eppur si muove!).

Сырой туман висел под сводами Санта-Мария-сопра-Минерва, перемешанный с запахом прогорклого воска, немывтых тел и кислых винных испарений. В углах что-то чавкало и возилось; возможно, крысы, а возможно — судейские писцы в засаленных сутанах. Снаружи, за толстыми стенами, Рим задыхался от жары и нечистот, но здесь царил вечный холод могильной плиты.

Галилей стоял на коленях. Его старые суставы хрустнули так отчетливо, что кардинал в первом ряду брезгливо поморщился и принялся ковырять в ухе длинным, загнутым ногтем. Ученого знобило. Рубаха липла к спине, пропитавшись холодным потом страха и унижения. Над ним нависала комиссия — скопище дряхлых тел, задрапированных в тяжелый пурпур, задыхающихся от собственной важности и одышки.

— Читай, старик, — прохрипел кто-то сверху. — Не тяни. У папы суп стынет.

Галилей кашлянул, выплевывая густую мокроту прямо на мраморный пол. Текст отречения дрожал в его узловатых пальцах. Бумага казалась чудовищно тяжелой, будто в нее вкатали свинец. Он начал читать — монотонно, запинаясь на латинских слогах, которые теперь казались лишенными всякого смысла. Слова падали в вязкую тишину зала, как камни в болото.

Вокруг творился привычный абсурд. Какой-то служака с дебиловатым лицом усердно чистил подсвечник куском грязной ветоши, толкая ученого локтем при каждом движении. В проходе двое стражников в ржавых кирасах шепотом спорили о цене на козлятину, время от времени сплевывая на пол семечки. Мир распадался на детали: бородавка на носу инквизитора, муха, запутавшаяся в складках балдахина, капля пота, медленно ползущая по морщинистой щеке подсудимого.

— ...я, Галилео Галилей, — голос его сорвался на свистящий хрип, — проклиная и ненавижу... заблуждения и ереси мои...

Он коснулся губами холодного Евангелия. Вкус пергамента и пыли. Кто-то из судей громко испустил газы, и по залу разнесся смешок, тут же подавленный сухим кашлем. Истина не торжествовала; она просто захлебывалась в бытовой грязи.

Когда его подняли под руки, чтобы увести в полумрак коридоров, Галилей едва передвигал ноги. Тяжелые сапоги стражников грохотали по плитам, выбивая пыль. У самого выхода, когда вонючее дыхание города уже ударило в лицо, старик споткнулся. Он наклонился, якобы поправить шнурок, а на деле — чтобы просто не рухнуть в эту липкую жижу.

Губы его, покрытые белесой коркой, шевельнулись. В общем гуле, в криках торговки за порогом и звоне колоколов, этот звук был почти не слышен.

— А она все-таки... — он сплюнул кровавистую слюну на ботинок конвоира, — вертится, скотина.

Стражник, не расслышав, грубо толкнул его в спину древком алебарды. Галилей поплелся дальше, растворяясь в серой толпе, в грязи и в бесконечном, бессмысленном кружении Земли среди холодных, безразличных звезд.

«Рассуждение о методе» Декарта

1637 год

Момент рождения современной философии. Рене Декарт произнес великое: «Я мыслю, следовательно, я существую». Пафос торжества разума: Декарт поставил под сомнение все, кроме самого факта мышления, сделав человеческий интеллект точкой отсчета для всей реальности.

Сырость липла к камням Лейдена, как холодный пот к покойнику. В узком простенке между таверной и скотобойней теснилась слякоть: вязкое месиво из подтаявшего снега, коровьей мочи и ошметков капустных листов. Сверху, с невидимого за густым туманом неба, капало что-то среднее между дождем и сажей.

Рене сидел в тесной каморке, где пахло прогорклым жиром и застоявшимся страхом. У него мерзли пальцы. На столе, покрытом пятнами неизвестного происхождения, дрожал огарок свечи, выхватывая из темноты то облупленный угол шкафа, то чье-то задышающееся лицо в дверной щели. За стеной кто-то долго, с надрывом кашлял, выплевывая легкие в таз; судя по звуку, металл был дырявым.

— Сомнение, — прохрипел Рене, не узнавая собственного голоса. — Нужно все это... в нужник.

Он посмотрел на свои руки. Они казались чужими, покрытыми мелкой чешуей холода. А что, если этих рук нет? Что, если этот смрадный город, этот кашляющий старик за стеной и даже эта жирная муха, вмерзшая в подоконник — лишь морок, подсунутый злокозненным демоном?

Снаружи прогрохотала телега. Слышались крики, чавканье сапог по грязи, звук удара — тяжелого, мясного. Кто-то завыл, тонко и нудно, как несмазанная петля. В комнату ввалился слуга, обросший клочковатой бородой, с которой свисала капля жира. Он притащил поднос с вареной репой, выглядевшей как опухоль.

— Кушайте, господин милостивый, — просипел слуга, обдавая Рене запахом гнилых зубов. — Свежее, только из котла. Кошка в нем, правда, утопла, но мы ее выудили.

Рене взглянул на репу. Мир вокруг расслаивался. Если чувства лгут, если плоть — лишь обманчивый кисель, то на что опереться в этом хаосе нечистот? Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от хлопанья и вони. В голове, за костью лба, что-то щелкнуло.

«Я мыслю», — произнес он внутри себя. Это было сухое, колющее чувство, единственное, что не воняло и не разлагалось.

Он открыл глаза. Слуга все еще стоял рядом, ковыряя в ухе грязным когтем. В углу комнаты крыса доедала чей-то брошенный башмак. Мир был омерзителен, бессмыслен и избыточен. Но в центре этого гноящегося нарыва пульсировала крошечная, ледяная точка чистого рации.

— Я мыслю, — повторил он вслух, обращаясь к мушиному трупу на окне. — Следовательно, я существую.

Слуга непонимающе рыгнул и вытер нос рукавом.

— Ну, существуете, вестимо, — согласился он. — Только сапоги-то заляпали. Там на площади опять кого-то колесуют, господин. Пойдемте глянем? Для бодрости духа.

Декарт посмотрел на него с горькой, почти неживой усмешкой. Его интеллект только что выстроил целую вселенную из пустоты, а под окном по-прежнему хлопала вечность, состоящая из дерьма и тумана.

— Эй, хозяин! — крикнул Рене в пустоту, вытирая пальцы о сальный камзол. — Я существую. Остальное — в помойку.

Битва при Рокруа: гибель «испанских терций»

19 мая 1643 г.

Конец эпохи доминирования испанской пехоты, которая считалась непобедимой 150 лет. Окруженные французской кавалерией, остатки испанских терций отказались сдаться. Финал целой военной эры. Испанцы погибли почти в полном составе, сохраняя строй, что вызвало благоговейный трепет даже у победителей.

Сырая, белесая хмарь висела над равниной Рокруа, перемешиваясь с жирным пороховым дымом. Воздух был густым, как остывшая каша; его нельзя было вдыхать — только заглатывать кусками, морщась от привкуса жженой шерсти и железной окалины. Где-то в этой мути, за пеленой, всхрапывали невидимые кони, и этот звук, влажный и утробный, казался отчетливее человеческих криков.

В центре месива стояли они. Остатки терций.

Старый капитан де ла Роча выплюнул в грязь вязкую розовую слюну. У него не хватало трех пальцев на левой руке, а правая намертво присохла к эфесу рапиры через запекшуюся кровь.

Рядом, привалившись к горелому лафету, икал молодой алебарщик; из его распоротого живота медленно, с достоинством вываливалось что-то серо-голубое, похожее на жирных морских червей. Сержант в помятой кирасе, заляпанной птичьим пометом и человеческими брызгами, методично обтирал лицо грязным платком, размазывая копоть по глубоким морщинам.

— Господи, помилуй нас, грешных, — пробормотал сержант, и тут же гулко выругался, потому что мимо пролетел сапог — просто чей-то одинокий сапог, подброшенный близким взрывом.

Французская кавалерия кружила вокруг, как трупные мухи над дохлой коровой. Синие мундиры в тумане казались черными пятнами. Ржали кони, звякало железо, кто-то по ту сторону выкрикивал команды высоким, почти девичьим голосом. Это был герцог Энгиенский. Он был чист, напудрен и пах отвратительно — розами и свежим хлебом.

Лошадь герцога, тонконогая и нервная, выплыла из хмари. Герцог посмотрел на каре испанцев. Те стояли плотно, плечом к плечу, вцепившись в свои пики. От них исходил тяжелый дух немытого тела, старой мочи и предсмертного пота. Это была не армия — это была многоголовая костлявая скотина, которая отказывалась ложиться в землю.

— Сколько вас там еще, доны? — выкрикнул герцог, брезгливо прикрывая нос кружевным платком. — Сдавайтесь! Вас не осталось!

Де ла Роча поднял голову. Глаза его, воспаленные и желтые, как у больного пса, с трудом сфокусировались на кружевах. Он поправил на плече пробитый пулей плащ, под которым шевелились вши, и оскалился в беззубой усмешке.

— Считайте наши трупы, ваша светлость, — прохрипел он, и звук его голоса был похож на хруст раздавливаемой яичной скорлупы. — Их здесь ровно столько, сколько было солдат.

Он обернулся к своим. Те молчали. Один старый солдат, чье лицо было наполовину засыпано картечью, пытался зажечь фитиль, но пальцы не слушались, скользили по жирному дереву мушкета. На шлеме у него сидела сонная муха.

— Строй держи, сучьи дети, — вяло скомандовал де ла Роча. — Не в кабаке.

Французы ударили снова. Это не было красиво. Это было тесно и тошнотворно. Звук ломающихся пик напоминал хруст сухих веток в лесу. Люди падали в жижу, захлебываясь рвотой и грязью, а те, кто оставался стоять, просто прижимались теснее, создавая стену из мертвецов и еще-не-совсем-мертвецов. Эпоха, гордая и непобедимая, выпускала дух в этой канаве, под аккомпанемент икоты алебарщика и далекого, нелепого кукареканья петуха в сожженной деревне.

Когда туман окончательно поглотил Рокруа, на поле не осталось ничего, кроме тишины и этого густого, липкого запаха, который бывает только там, где старое величие окончательно превращается в навоз.

Казнь Карла I Стюарта

30 января 1649 г. (14:00)

Впервые в истории законный монарх взойшел на эшафот по приговору суда собственного народа. Король сохранил ледяное спокойствие, положил голову на плаху и сам подал знак палачу. Момент крушения идеи «божественного права королей».

Лондон задыхался в сыром, белесом киселе. Туман был такой плотности, что казался не погодным явлением, а испарением тысяч немых тел, сбившихся у Уайтхолла. Грязь под сапогами солдат Кромвеля хлюпала, перемешиваясь с размокшим овсом и конским навозом. В воздухе висел запах жареного каштана, несвежей рыбы и близкой крови.

Карл шел через Банкетный зал, стараясь не смотреть на потолок Рубенса, где его отец, Яков, в золотом сиянии воспарял к небесам. Здесь, внизу, все было иначе. Пространство сузилось, стало низким, сдавливающим. Кто-то в толпе громко высморкался; звук отразился от стен, как выстрел.

У выхода на эшафот замешкались. Какой-то оборванец с воспаленными глазами пытался просунуть руку сквозь строй алебардчиков, чтобы коснуться королевского шелка, но получил черенком по зубам. Сгусток слюны и крови медленно стек по вороненой стали.

На помосте, обтянутом черным, было тесно и нелепо. Палач и его помощник, выраженные в маски с клочковатыми бородами, походили на ярмарочных паяцев. Ветер трепал их лохмотья. Король щурился от тусклого света. Он надел две рубашки — чтобы холод не заставил его дрожать, и чернь не приняла бы это за страх. Но здесь, среди чавканья сапог и невнятного бормотания молитв, его достоинство выглядело анахронизмом, забытой вещью в лавке старьевщика.

— Плаха слишком низка, — заметил он бесцветным голосом.

Никто не ответил. Помощник палача ковырял в ухе грязным ногтем. Внизу, в толпе, затеяли драку из-за упавшей шапки; крики «Вор!» мешались с бормотанием псалмов. Мир распался на куски: чей-то кашель, скрип половиц, далекий лай собаки. Не было никакой сакральной тишины, только вязкий, абсурдный шум бытия.

Король опустился на колени. Его лицо, холеное и тонкое, оказалось в нескольких дюймах от шербатого дерева, пахнущего старой сыростью. Он сам заправил волосы под шапочку, точными, брезгливыми движениями. Божественное право королей пахло здесь не ладаном, а мокрой шерстью и перегаром караульных.

Карл вытянул руки вперед. Палач переступил с ноги на ногу, подошва скрипнула по доскам. В это мгновение железный топор, тяжелый и тупой, как сама история, обрушился вниз.

Звук был не героическим — просто глухой «хруст», словно перерубили большую мерзлую репу. Голова покатилась по опилкам, пачкая их красным. В толпе кто-то истошно завопил, не то от ужаса, не то от восторга. Железная клетка мироздания лопнула, и вместо божественного света из дыры потекла обыкновенная, густая, вонючая юшка.

Палач подхватил добычу за волосы. Толпа охнула — единый выдох тысяч легких, пахнущих голодом и восторгом. К эшафоту тут же бросились люди, толкаясь и топча друг друга, чтобы обмакнуть носовые платки в еще теплую, лужу, превращая вчерашнего бога в сувенирную лавку.

Над Лондоном продолжал висеть туман, равнодушный и плотный, как вата.

Появление первых бумажных денег в Европе

1661 год

Стокгольмский банк выпустил бумажные расписки (Kreditivsedlar). Пафос в триумфе абстракции: человечество официально признало, что вера в ценность бумаги важнее веса золота. Это рождение современной финансовой системы, где экономика держится на доверии.

Стокгольм. Июль, пропитанный вонью гниющей сельди и влажной копотью. Воздух густой, как кисель, его можно резать тупым ножом.

В узком коридоре банка теснота несусветная. Стены потеют известкой. С потолка капает — то ли конденсат, то ли чья-то моча с верхнего этажа. Под ногами хлюпает месиво из опилок, крысиного помета и размокшей соломки. Юхан Пальмструк, директор, человек с лицом измятым и серым, как нестиранное исподнее, продирается сквозь толпу помощников. Кто-то сует ему под нос обгрызанное перо, кто-то пытается поцеловать рукав камзола, испачканного в чернилах и жире.

— Тесно, — хрипит Пальмструк. — Дышать нечем. Куда девали медь?

— Сгрузили, господин директор, — сипит в ответ клерк с бельмом на глазу. — В подвал сгрузили. Просел пол. У соседа снизу, жестянщика, потолок выгнуло пузом. Скоро плиты на голову посыпались бы. Три тонны на одну расписку... Не держат балки.

В центре зала на дубовом столе, залитом воском и засиженном мухами, лежит Она. Kreditivsedlar. Бумажка. Хрустит под пальцами, как сухой лист. Чистая, почти девственная на фоне этого грязного ада. На ней — печати, восковые кляксы, чьи-то невнятные закорючки.

Рядом стоит купец из Гетеборга. У него изо рта пахнет чесноком и безнадеей. Он смотрит на бумагу с ужасом, как смотрят на святые мощи, которые могут оказаться костью бродячей собаки.

— И это... все? — шепчет купец, вытирая сальный лоб обшлагом. — Вместо моих телег с медными плитами? Это вот... тряпица?

Пальмструк берет бумагу за край двумя пальцами. С ногтя срывается капля грязи и падает точно на герб.

— Это вера, дурак, — роняет он, и в голосе его слышится скрип несмазанных петель. — Золото твое — земля. Медь твоя — прах. Тяжесть тянет вниз, в могилу. А это... это мысль. Ты веришь, что я тебе отдам, если ты придешь. И я верю, что ты веришь.

В углу кто-то громко испражняется в ведро. Карлик в облезлом парике пытается поймать муху прямо на гербовой печати. Абсурд происходящего давит на виски. Весь мир, со всеми его армиями, фрегатами и холодными морями, вдруг съехался до размера этого лоскута, вымоченного в терпентине.

— А если... если все сразу придут? — заикается купец.

Пальмструк скалится. Зубы у него желтые, редкие, как колья в разоренном заборе. Он наклоняется к самому уху купца, обдавая того запахом перегара и величия.

— Тогда, милейший, мы все просто дружно сделаем вид, что бумаги — это и есть золото. И будем так жить, пока не сдохнем. Главное — не моргать.

Он резко припечатывает бумагу к столу ладонью. Грязь расплывается под рукой красивым узором. В подвале утробно ухнуло — это окончательно лопнула балка под весом никому не нужного металла. Сверху посыпалась штукатурка, бея плечи присутствующих, превращая их в призраков, запертых в камерке новой эры.

Торжество абстракции свершилось. В вонючем Стокгольме, среди кашля и нищеты, человечество официально выбрало пустоту, потому что та была легче камня.

Открытие Стоунхенджа

1666 г.

Первое научное описание Джоном Обри. Исследователь зафиксировал кольцо ям, которые теперь называют «лунками Обри». Момент, когда просвещенная Европа осознала, что на ее островах тысячи лет назад существовала мощная цивилизация, способная двигать 25-тонные камни ради звездных циклов.

Туман в тот год был густой, как несвежий кисель, перемешанный с конским навозом. Он лип к лицу, забивался в ноздри и превращал парик Джона Обри в мокрую паклю, от которой разило пудрой и псиной.

Обри кашлял. Кашель вырывался из него с влажным хрустом, будто внутри шевелилась сырая жаба. Вокруг, в серой взвеси Солсберийской равнины, копошились тени. Где-то внизу, у самых сапог, хлюпала невидимая грязь, и в этой грязи возились люди — не то крестьяне, не то призраки в обносках, выкапывающие репу или собственные кости.

— Копай здесь, дурень, — прохрипел Обри, ткнув тростью в податливую, чавкающую почву. — Здесь яма. И там яма. Кругом одни дыры.

Он замер перед огромным серым валуном, который вырастал из тумана, как гнилой зуб гиганта. Камень был скользким, покрытым лишайником, похожим на трупные пятна. Сверху на Обри капнуло — не то дождь, не то птичья нечистота. Он не вытерся.

В просвещенной Европе верили, что мир начался вчера, а здесь, под слоем перегноя и овечьего помета, разверзалась бездна. Обри сунул палец в свежую лунку — одну из тех, что потом назовут его именем. Палец ушел в холодную слизь. Он почувствовал не величие древних, а лишь первобытную, тупую силу. Кто-то приволок эти двадцатипятитонные глыбы через топи и хляби, вырыл эти ровные, идиотские ямы, чтобы смотреть на звезды, которые все равно скрыты вечным английским сплином.

— Цивилизация... — выплюнул Обри вместе с комом мокроты. — Гиганты. Грязные, потные, вонючие боги.

Мир вокруг схлопывался. Пространства не было — только теснота между камнем и туманом. Рядом проковылял калека, таща на веревке дохлую кошку; кто-то невидимый в тумане громко и продолжительно испражнялся. Абсурд происходящего давил на виски: эти камни стояли здесь тысячи лет, пока короли вшивели в своих замках, а теперь он, Обри, записывает их в книжицу, стоя по колено в жиже.

Он засмеялся — сухим, лающим смехом. Звездные циклы! Ради того, чтобы солнце раз в году попало в щель между глыбами, тысячи людей надрывали пупы в этой хмурой пустоте.

Обри прижал горячий лоб к холодному сарсену. Ему показалось, что камень пахнет старой кровью и мокрым железом. Великое прошлое Британии оказалось не белым мрамором, а серой гнилью, вбитой в землю с нечеловеческим упрямством.

— Пиши, — приказал он себе, не оборачиваясь к воображаемому секретарю, которого давно засосало в болото. — Пиши: они были здесь до нас. И они были еще безумнее.

Первое переливание крови человеку

15 июня 1667 г.

Врач Жан-Батист Дени перелил кровь ягненка 15-летнему мальчику. Мальчик выжил (чистая удача!), но этот пафосный эксперимент на грани безумия открыл путь к современной трансфузиологии.

Париж задышался в сизом, маслянистом тумане. В коридорах Сен-Жермена воняло кислым сукном, жженой костью и нечистотами, которые никто не решался выплеснуть в слякоть двора. Воздух был густым, как остывающий кисель; его хотелось раздвигать руками, чтобы добраться до дверей.

Жан-Батист Дени, в потном парике, съехавшем набок, как дохлая крыса, ковырялся в узлах кожаных трубок. Его пальцы, перепачканные в мелу и сале, дрожали.

— Тащи барана, — прохрипел он, не оборачиваясь. — Живее, во имя Христа и всех его язв.

В тесную комнату, где на заплеванном полу корчился пятнадцатилетний малец, вволокли ягненка. Животное орало человеческим голосом, копыта скользили по мокрой плитке, выбивая дробь. Мальчик, серый, как сырая штукатурка, смотрел в потолок, где в трещинах копошились жирные мухи. У него была горячка, из тех, что выпивают человека до дна, оставляя лишь ломкую скорлупу.

— Держи его! — рявкнул Дени.

Помощники, в рваных камзолах и с лицами, стертыми до состояния сырого теста, навалились на барана. Кто-то сплюнул густую слюну прямо на сапог врача. В воздухе висела клаустрофобная суэта: чье-то тяжелое дыхание в затылок, хруст хрящей, звон медного таза, в который стекала лишняя, «дурная» кровь паренька.

Дени вогнал серебряную канюлю в вену ягненка. Животное дернулось, затихло и обреченно уставилось на распятие над дверью. Струя пошла по трубке — мутная, густая, чужая.

— Лейся, божья тварь, в человечесью немощь, — пробормотал кто-то под нос, чеша под мышкой.

Мальчик вдруг выгнулся дугой. Его лицо пошло багровыми пятнами, изо рта вырвался клокочущий звук, похожий на смех задыхающегося утопленника. Дени прижал грязную тряпку к его руке. Все замерли. В углу кто-то громко и буднично мочился в ведро. Ирония Господа заключалась в том, что смерть, уже занесшая косу, вдруг поскользнулась на этом кровавом полу.

Паренек обмяк. Дыхание стало ровным, но тяжелым, как удары молота по наковальне. Он не умер. Баран же, обмякший и пустой, смотрел на профессора с немим укором.

— Выжил, — выдохнул Дени и вытер лоб рукавом, размазывая чужую кровь по лицу. — Запишите: природа подчинилась.

Он вышел в коридор, споткнувшись о чье-то тело, спящее или мертвое — в этом доме разницы не было. Снаружи Париж все так же тонул в нечистотах, и где-то в тумане ржал невидимый конь, предвещающий вечность, полную таких же безумных и спасительных мук.

Казнь Степана Разина

16 июня (6 июня по ст. ст.) 1671 г.

На Красной площади в Москве казачий атаман был четвертован. По легенде, он не издал ни единого стоны, сохраняя пафос «народного заступника» до самого конца.

Москва задыхалась в киселе июньского зноя и испарениях сотен немых тел. Воздух, густой, как несвежий смалец, застревал в горле. Над Красной площадью стоял не гул, а утробное чавканье: сапоги месили грязь вперемешку с капустными кочерыжками и конским навозом.

Степана везли на высокой телеге. Он сидел, примотанный цепями к позорному столбу, будто чучело, которое забыли сжечь на Масленицу. Лицо его, изрытое оспой и дорожной пылью, казалось высеченным из серого мыла. Рядом семенил брат Фролка, бледный, с трясущейся челюстью; он что-то быстро и мелко бормотал, путая молитвы с просьбами о пощаде, но слова тонули в общем хрипе толпы.

Кто-то из юродивых, полуголый, в одних веригах, сунул в телегу дохлую кошку. Труп животного мягко шлепнулся Разину на колени. Атаман даже не моргнул. Его взгляд, пустой и тяжелый, упирался в Лобное место, где уже суетились люди в красном. Пахло горелой костью, прогорклым маслом и мочой.

— Гляди, Степка, — просипел стрелец с обвязанной тряпицей щекой, обдавая атамана вонью гнилого зуба. — Сейчас тебя кроить станут, как кафтан старый.

Палач был широк в кости и сучен лицом. Он лениво сплюнул под ноги, вытирая засаленные руки о подол рубахи. Толпа напирала, хрюкала, чавкала лузгой. Какой-то дьяк в заляпанной соусом ферязи пытался зачитать указ, но слова вязли в липком воздухе, распадаясь на бессмысленные слоги.

Разина повалили на плаху. Дерево было мокрым и скользким. Когда первый удар топора отсек правую руку, по толпе пронесся не вздох, а короткое, жадное причмокивание. Фролка взвыл, забился, брызгая слюной:

— Слово и дело! Скажу все!

Степан медленно повернул голову. На его щеке сидела жирная синяя муха, привлеченная свежим паром. Он не вскрикнул, когда сталь вошла в сустав ноги. Он лишь глубже вжался затылком в грязную плаху, глядя в белесое, выцветшее небо, где вместо ангелов кружили черные вороны, такие же тяжелые и сытые, как люди внизу. Ирония судьбы заключалась в том, что в этот миг «заступник» казался единственным живым существом среди этой копошащейся, гниющей массы, хотя от него уже оставалось лишь окровавленное туловище.

Мир схлопнулся до хруста костей и чавканья стали. В финале, когда голова отделилась от плеч, она еще мгновение смотрела на толпу с застывшей, абсурдной полуухмылкой, пока чья-то грязная рука не подхватила ее за чуб, демонстрируя немому, задыхающемуся городу.

Басё публикует первые сборники хокку

1672 год

Момент, когда поэзия стала «алмазом», сжатый до трех строк. Мацуо Басе превратил простую забаву в глубокую философию созерцания. Пафос в том, что в 17 слогах удалось уместить всю бесконечность природы и одиночество человека.

Эдо, год Водяной Крысы. Шестьдесят второй или семьдесят второй — какая, к лешему, разница, когда в горле комом стоит кислая соевая барда, а над городом висит пар такой густоты, что его можно резать тупым тесаком для разделки тунца.

В узких проходах между лачугами теснились тела: кто-то тащил облезлую циновку, кто-то сопел в ухо соседа, обдавая того запахом тухлого редиса и застарелой сакэшной кислятины.

Мацуо Дзинситиро, которого позже назовут Басе, сидел в углу низкой комнаты, где потолок давил на темя, а стены казались сделанными из спрессованной грязи. У него чесалось под лопаткой, но рука, испачканная тушью, лишь бессильно дергалась. Перед ним лежал свиток — серая, засиженная мухами полоска бумаги. Вокруг суетились. Какой-то малый с распухшей щекой пытался просунуть мимо поэта кадку с соленой рыбой, задевая локтем его костлявое плечо.

— Куда прешь, юродивый? — прохрипел малый, обдав Мацуо брызгами слюны. — Поэзию он пишет... Тьфу.

Басе не ответил. Он смотрел, как в грязной луже у порога отражается кусок серого неба. В луже плавала дохлая крыса, и ее обледенелый хвост напоминал ветку сакуры в инее. Это было смешно и тошнотворно одновременно. Раньше они, эти господа в шелках, упражнялись в рэнга — плели бесконечные кружева слов, сладкие, как перезрелая хурма, пустые, как выеденное яйцо. Смешки, каламбуры, сальный хохот над удачной рифмой.

Мацуо сплюнул на земляной пол. Хватит.

Он обмакнул кисть в черную жижу. Рука дрожала от холода. Нужно было сжать этот хаос, этот запах нечистот, этот хрип умирающего старика за стеной в один короткий выдох. Превратить груды навоза в алмазную крошку.

Снаружи кто-то истошно закричал — то ли от боли, то ли от радости, не разберешь. Проехала телега, обдав стену жирной грязью. Басе замер. В голове бились 17 слогов, острых, как осколки битой керамики.

Старый пруд.

(В углу комнаты заскреблась мышь, кто-то громко испортил воздух и виновато хихикнул).

Прыгнула в воду лягушка.

(Лягушка была жирная, в бородавках, она шлепнулась в слизь пруда, который не чистили со времен первых сегунов).

Всплеск в тишине.

Тишина наступила мгновенно, хотя за стеной продолжали орать и чавкать. Это была тишина внутри черепа, где одиночество человека терлось о бесконечность равнодушной природы, как ржавая пила о сырое полено. Басе посмотрел на свои каракули. Коротко. Тесно. Гнетуще. Как жизнь в этом проклятом Эдо, где на одного поэта приходится десять золотарей.

Он выпустил кисть. Та упала, оставив на циновке кляксу, похожую на раздавленного клопа. Сборник был готов. Поэзия перестала быть забавой для сытых дураков. Она стала этим самым всплеском в вонючем пруду — коротким, резким и абсолютно бессмысленным перед лицом вечности.

— Эй, Мацуо! — крикнули из темноты коридора. — Иди жрать, похлебку выносят!

Рядом кто-то начинает громко испражняться в ведро, сопровождая процесс довольным стоном. Басе сворачивает свиток. Поэзия родилась. Поэт поднялся, хрустнув суставами. Его мутило. В 17 слогах он запер весь этот мир, и теперь миру было там очень тесно.

Смерть Мольера на сцене

17 февраля 1673 г.

Великий драматург играл главную роль в своей пьесе «Мнимый больной». В финале спектакля у него начался приступ кровавого кашля. Зрители думали, что это гениальная игра, и аплодировали, пока актер корчился в муках. Высшая ирония судьбы — умереть, играя человека, который притворяется больным. Актера похоронили ночью, без обрядов, так как церковь считала его профессию грешной.

Париж задыхался в гнилой сырости. Февральская ночь лезла в щели театра Пале-Рояль склизким щупальцем, перемешивая запах пудры с вонью нечистот и дешевого воска. В закулирье было тесно, как в гробу. Мимо проплывали потные лица, перекошенные гримасами, кто-то рыгал, кто-то суетливо крестил испачканный в белилах лоб.

Жан-Батист дрожал. Его Арган, «мнимый больной», сидел в глубоком кресле, обложенный подушками, которые пахли залежалой шерстью. На сцене стоял гул — людское месиво в зале чавкало, шуршало шелками и сморкалось в кулак.

Когда приступ ударил в грудь, он сперва ощутил вкус железа. Теплый, соленый ком подкатил к горлу. Мольер кашлянул — густо, надрывно. На белоснежное жабо выплеснулось нечто темное, почти черное в неверном свете масляных ламп.

Толпа взвыла от восторга.

— Гляди, как корчится! — просипел кто-то в первом ряду, обдавая соседа чесночным духом. — Словно настоящий помирает!

Драматург сучил ногами, вцепившись пальцами в подлокотники. Ногти царапали дерево с сухим, противным звуком. Слюна, перемешанная с сукровицей, пузырилась на губах. Он пытался вытолкнуть из себя шутку, положенную по тексту, но вместо латыни из горла лез только хриплый, kloкочущий свист.

Ирония была жирной, как гусиный паштет на королевском пиру: человек, симулирующий недуг ради смеха, захлебывался собственной жизнью под гром аплодисментов. Люди гоготали, глядя, как великий комедиант синеет лицом. Им казалось, что это высший пилотаж мимикрии, гениальная судорога, придуманная на потеху Парижу.

Потом все стихло. Тело обмякло, став нелепой кучей тряпья и грима.

А за порогом театра уже ждала темнота. Церковь не прощала лицедейства — для Бога он был не творцом, а грешником, торгующим кривляньем. Позже, когда свечи догорели, его тащили через задний двор. Без колокольного звона, без святой воды, в липких сумерках. Телега подпрыгивала на ухабах, и голова мертвеца билась о доски, будто Жан-Батист все еще пытался кивнуть своим почитателям, прося еще одну, последнюю минуту тишины.

Впервые измерена скорость света

1676 год

Датский астроном Оле Рёмер, наблюдая за спутниками Юпитера, доказал, что свет не распространяется мгновенно. Пафос в том, что человек впервые накинул аркан на самую быструю силу во Вселенной, определив ее физический предел.

Париж вонял кислым сукном, несвежей рыбой и нечистотами, которые меланхолично стекали по желобам Королевской обсерватории. В коридорах стоял густой, осязаемый туман — смесь табачного дыма, испарений мокрых плащей и чесночного перегара.

Оле Ремер, датчанин с лицом, похожим на залежалую репу, втиснул свое тело в узкий проем между медным квадрантом и стеной, покрытой липкой плесенью. Грязь под ногтями чесалась. Рядом кто-то надсадно кашлял, выплевывая вязкую мокроту прямо на паркет, и этот звук ввинчивался в уши, как бурав.

— Спутник Ио... — прохрипел Ремер, не отрывая покрасневшего глаза от окуляра. — Опять опаздывает, сука.

Спутник Юпитера вел себя как пьяный лакей. Согласно таблицам великого Кассини, Ио должна была нырнуть в тень планеты несколько минут назад. Но она медлила. Небо над Парижем было мутным, как рыбье око, затянутое бельмом. Где-то внизу, в недрах обсерватории, скрипели несмазанные блоки, и слышалось отчетливое чавканье — кто-то из ассистентов в потьмах жадно жрал холодную требуху.

Ремер чувствовал, как по спине течет холодная струйка пота. Весь мир — эта огромная, заваленная мусором и предрассудками конура — вдруг сжался до размеров медной трубки.

— Она не опаздывает, — пробормотал он, вытирая засаленным рукавом нос. — Это дорога длинная.

Он понял это внезапно, среди вон и чавканья. Свет не был духом божьим, разливающимся повсюду в миг единый. Он был бегуном. Тяжело дышащим, спотыкающимся о пустоту курьером, которому нужно время, чтобы дотащить благую весть от Юпитера до этой гнилой парижской конуры.

Ремер оскалился, обнажив желтые зубы. Он только что поймал за хвост самую бесконечность. Он накинул грязную пеньковую петлю на шею ангела. Самая быстрая сила во Вселенной, оказывается, имела предел — она могла уставать, могла опаздывать, ее можно было измерить кухонными часами и записать цифры на клочке заляпанной жиром бумаги.

Снизу донесся грохот опрокинутого ведра и чья-то многоэтажная ругань. Ремер отстранился от прибора. В горле першило. Бог перестал быть вездесущим; он стал просто очень быстрым почтальоном, у которого теперь был график работы.

— Семь минут, — сказал датчанин в пустоту, почесывая небритый подбородок. — Семь минут от Солнца до Земли, и ни секундой меньше. Приехали.

Он повернулся и побрел к выходу, задевая плечом сырые стены. В темноте коридора кто-то невидимый громко и протяжно испортил воздух, и этот звук стал финальной точкой в величайшем открытии века.

Снятие осады Вены Яном Собеским

12 сентября 1683 г.

Польская «крылатая гусария» совершила самую массовую кавалерийскую атаку в истории, разбив турок под стенами Вены. Момент, когда вся Европа вздохнула с облегчением, увидев закат османской экспансии.

Грязь под Веной имела вкус ржавчины и прокисшего вина. Она хлюпала, чавкала, вползала в сапоги, перемешиваясь с конским навозом и требухой тех, кому не повезло дожить до полудня. Воздух застыл — густой, серый, хоть топором секи. В этом киселе плавали крики мулл, звон пустых котелков и хрип дизентерийных обозников.

Граф Штаремберг сплюнул вязкую слюну на обломки балюстрады. В городе ели крыс и кожаные ремни, а здесь, на холмах, турок Каара-Мустафа сидел в шелковом шатре, посреди ковров и отрубленных голов, и пил кофе, пока черви точили его амбиции. Все было нелепо, громоздко и душно.

Вдруг горизонт ошетинился. С Каленберга поползли не люди — видения.

Польская гусария спускалась медленно, как тяжелый сон. Перья на их «крыльях» не белели ангельской чистотой; они были облезлыми, серыми от копоти, свалаявшимися в колуны. Деревянные каркасы скрипели, как несмазанные телеги. Гусары молчали, только латы лязгали — железо о железо, глухо и безнадежно.

Ян Собеский, грузный, с лицом цвета сырой печени, тяжело дышал, раздувая ноздри. У него чесалось под кирасой, а в сапоге застрял камешек, но величие требовало неподвижности.

— Ну, — просипел он, и этот звук утонул в гуле.

И они пошли. Сначала рысью, потом вскачь, превращаясь в единую массу потного мяса и кованой стали. Грохот крыльев — не небесный хор, а свист сумасшедшей птицы, запертой в пустом амбаре. Тысячи коней вбивали в жижу остатки османского лоска.

Кара-Мустафа обронил чашку. Фарфор звякнул об окровавленный ятаган. В шатер ввалился янычар без носа, попытался что-то сказать, но только выблевал серую кашицу. Всюду была суета: кто-то тащил сундук с талерами, кто-то душил раненого верблюда, кто-то просто выл, глядя на наползающую лавину перьев.

Пики пронзали тюрбаны с влажным звуком спелого арбуза. В этой свалке не было героизма — только теснота, вонь горелой шерсти и липкий страх, сжимающий горло. Рыцари в шкурах леопардов выглядели нелепыми чучелами, но их кони топтали плоть так методично, будто молотили зерно.

Вена смотрела на это через проломы стен. Кто-то зашелся в кашле, кто-то перекрестился грязным пальцем.

Когда солнце окончательно утонуло в дыму, наступила тишина, прерываемая лишь чавканьем мародеров в турецком обозе. Европа, содрогаясь от рвоты и облегчения, поняла, что выжила. Собеский сидел на поваленном османском знамени и долго, сосредоточенно ковырял в зубах обломком щепы, глядя, как по грязи ползет брошенная кем-то расшитая туфля.

Смерть композитора Жана-Батиста Люлли

22 марта 1687 г.

Придворный композитор Людовика XIV так неистово отбивал такт тяжелой тростью-дирижерской, что проткнул себе ногу. Началась гангрена, от которой он и умер. Смерть от избытка творческой страсти в буквальном смысле.

Версаль хлопает. Гниет изнутри, задыхается в кружевах и испарениях немых тел. По коридорам, затянутым серой кисеей тумана, дрейфуют сонные пажы, неся в руках золотые ночные вазы, полные вчерашней желчи. В воздухе висит запах пудры, жареного мяса и мокрой побелки.

Жан-Батист Люлли, затянутый в камзол так туго, что ребра стонут, возвышается над оркестром. Его парик, огромный и пыльный, как дохлая овца, сполз на лоб. Вокруг — хаос: чья-то рука поправляет сопливый нос скрипача, в углу беззвучно лает шелудивая левретка, кто-то роняет подсвечник, и воск летит на бархат.

— Те Деум! — сипит Люлли. Голос его сорван, во рту привкус меди.

Он поднимает тяжелую трость-батон — кованую дубину, увенчанную золотым набалдашником. Это не дирижерский жест, это замах палача. Музыка начинается не с гармонии, а с хрипа. Люлли бьет об пол. Раз. Два. Грохот дерева о мрамор отдается в зубах. Три!

Трость идет вкривь. Острый наконечник, вобравший в себя всю ярость придворной крысы, пробивает туфлю. Хруст кости тонет в литаврах. Люлли не вскрикивает — он лишь дергает щекой, а из-под пряжки начинает лениво вытекать темная, почти черная жижа.

Через неделю спальня превращается в кунсткамеру. Пахнет уже не пудрой, а сладковатым духом старой бойни. Нога композитора, раздутая до размеров доброго окорока, покоится на шелковых подушках. Гангрена ползет вверх, как верный придворный — цепко и неумолимо.

Врачи в птичьих масках суетятся в полумраке, сталкиваясь лбами. Один из них, с грязными ногтями, тычет пальцем в почерневшую плоть:

— Резать, сударь. До самого паха.

Люлли скалится. Его лицо — маска из мокрого гипса.

— Как я буду танцевать перед Королем-Солнцем на одной ноге? Вы хотите, чтобы я скакал, как одноглазая цапля в болоте?

Он смеется, и этот смех переходит в булькающий кашель. В углу кто-то жадно ест холодного цыпленка, обглаживая кости и бросая их прямо на паркет. Придворные теснятся у кровати, дыша друг другу в затылки; их лица искажены линзами влажного воздуха. Жизнь уходит из него так же, как уходила музыка — через ритм, который невозможно остановить.

В день смерти за окном шел серый, липкий дождь. Люлли лежал в бреду, пытаясь отбить такт пальцами по одеялу. Когда рука бессильно упала, кто-то в толпе зевнул и почесал под мышкой. Творец сдох, оставив после себя лишь вонь гнилой плоти и партитуру, по которой завтра кто-нибудь другой будет иступленно лупить в грязный пол.

Публикация «Начал» Исаака Ньютона

5 июля 1687 г.

День, когда законы Вселенной (движение планет, гравитация) были впервые описаны математически. Человечество «поняло», как работает мир.

Лондон задыхался в желтом, маслянистом тумане, который, казалось, состоял не из воды, а из испарений нечистот и горелой шерсти. Пятое июля выдалось душным, как нутро забитого скота. Грязь на улицах достигла той степени густоты, когда она перестает быть субстанцией и становится средой обитания.

В типографии Джозефа Стритера стоял невыносимый лязг. Пахло кислым вином, прогорклым жиром и свежими чернилами, которые воняли хуже, чем гниющий рогоз. Эдмунд Галлей, чье лицо лоснилось от пота и копоты, стоял над печатным прессом. Его парик съехал набок, обнажая бледную, в рытвинах, кожу черепа. Он вытирал руки о грязный камзол, оставляя на бархате иссиня-черные мазки, похожие на трупные пятна.

— Готово ли? — прохрипел Галлей. Голос его тонул в чавканье типографских валов.

На заплеванном полу валялись размокшие листы. По ним пробежала крыса, волоча за собой обрубок хвоста. Кто-то в углу надрывно кашлял, выплевывая густую мокроту прямо на стопку чистой бумаги.

Из тени вынырнул подмастерье — существо неопределенного пола и возраста, с белым на левом глазу и постоянно подергивающейся щекой. Он протянул Галлею тяжелый, еще влажный фолиант. «*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*».

Галлей раскрыл книгу. На чистых страницах, среди этого хаоса испражнений и нищеты, ровными колонками выстроились сухие, беспощадные формулы. Геометрические фигуры казались инородными телами, хирургическими инструментами, вонзенными в тушу мироздания. Законы тяготения были прописаны четко, словно приговор.

Снаружи, за окном, пьяный нищий пытался поймать за хвост облезлую кошку, оба они валялись в жиже, подчиняясь закону всемирного тяготения с каким-то особенным, скотским рвением.

— Ну вот, — пробормотал Галлей, ковыряя в зубе щепкой. — Теперь мы знаем, почему яблоко падает в навоз, а Луна не падает на нас. Математика, сударь. Чистый расчет.

Он посмотрел на печатника, который в этот момент мочился в ведро с обрезками бумаги. Весь мир — от движения Юпитера до консистенции этой мочи — был теперь пойман, измерен и взвешен. Вселенная оказалась не божественным садом, а огромной, скрипучей, забрызганной гноем машиной, шестеренки которой Исаак, этот желчный отшельник из Кембриджа, наконец-то пересчитал.

Галлей вышел на крыльцо. Тяжелое, свинцовое небо давило на город. Где-то высоко, над слоями сажи и человеческого дыхания, планеты послушно чертили свои эллипсы, не в силах вырваться из математической клетки. Было невыносимо тесно. Свободы больше не существовало — осталась только инерция и масса.

Выход труда «Опыт о человеческом разумении» Локка

1690 год

Джон Локк заявил, что человек рождается Tabula rasa (чистой доской), а все идеи приходят из опыта. Пафос равенства: если мы рождаемся «пустыми», значит, короли и крестьяне изначально равны, а все решает воспитание.

Склизко. В воздухе висит не то туман, не то испарения из переполненных выгребных ям Оксфорда. Год Господень 1690-й, но кажется, что время свернулось в грязный рулон и гниет в углу.

Джон Локк, сутулый, с серым лицом человека, чьи кишки давно ведут с ним отдельную, изнурительную войну, продирается сквозь анфиладу комнат. В комнатах тесно. Всюду навалены тюки, какие-то медные тазы, копошатся слуги, похожие на мокрых крыс. Кто-то задевает его плечом, обдает запахом кислой капусты и немытого тела. Локк не оборачивается. Он несет в руках стопку листов — «Опыт о человеческом разумении». Листы влажные, чернила расплываются, превращая великие мысли в серые кляксы.

— Чистая доска, — бормочет он, уворачиваясь от висящей на просушке простыни, тяжелой от серой воды. — Tabula rasa, черт бы ее побрал...

В углу, на перевернутом корыте, сидит младенец. Существо неопределенного пола, обмазанное кашей и сажей. Оно смотрит на философа выпученными, бессмысленными глазами. Локк останавливается. Его длинный нос дергается. Из соседней залы доносится грохот — упал шкаф или выронили покойника. Никто не обращает внимания.

— Вот он, — сипит Локк, тыча пальцем в сторону младенца. — Чист. Пуст. Как дно этого корыта. Что принц, что сын свинопаса — в начале один и тот же кисель в черепной коробке.

Младенец пускает пузырь. Сверху, с потолка, капает что-то черное.

— Ваше величество... — философ отвешивает шутовской поклон куче тряпья в углу. — Если в вас ничего нет от рождения, значит, и божественное право ваше — просто плохо выстиранный парик. Опыт! Только опыт вколачивает в нас человека.

В комнату вваливается некто в судейской мантии, забрызганной жиром. Он несет жареного гуся, вцепившись в него зубами прямо на ходу. Глотает, давится, косится на Локка.

— Что пишешь, Джонни? Опять про равенство? Гляди, допишешься до дыбы.

— Равенство в пустоте, — огрызается Локк. — Мы все — просто глина, в которую жизнь тычет пальцами. Воспитание — вот что превращает эту глину либо в кувшин для вина, либо в ночной горшок.

Они оба смотрят на младенца.

— У него еще дед воровал, — говорит судья. — В крови это. Гниль в крови, Джонни.

Локк наклоняется вперед, так близко, что чувствует запах гнилых зубов старика. Его лицо кривится в ироничной гримасе, похожей на судорогу.

— В крови только железо и соль, дурак. А идеи приходят снаружи. Через нос, через уши, через эту вот жижу на ботинке. Мы все — просто глина под дождем. Кто-то лепит святого, кто-то — висельника.

Он смотрит, как служанка, пробегая мимо, отвешивает младенцу звонкую затрещину просто так, для порядка. Младенец орет. Рот его — черная дыра в мясном лице.

— Вот и воспитание, — хмыкает Локк. — Первое впечатление. Первая запись на доске. Грязь, боль и крики. Добро пожаловать в мир разума.

Он идет дальше. Проход сужается. Стены облеплены старыми газетами и какими-то липкими объявлениями. Становится совсем темно. Локк спотыкается о чьи-то ноги, торчащие из-под лестницы. Слышно, как где-то за стеной методично бьют посуду.

Впереди маячит свет — холодный, неуютный. Там, за дверью, печатный станок будет жевать его бумагу, превращая «Чистую доску» в тираж. Локк прижимает рукопись к груди. Он знает: завтра короли прочтут, что они сделаны из того же теста, что и этот заплеванный младенец на корыте. И это будет смешно. Так смешно, что захочется выть, зарывшись лицом в холодную солому.

Он выходит в коридор, где в воздухе кружится пух из разорванной подушки. Белые хлопья оседают на его черном кафтане, делая его похожим на общипанную птицу.

— Все — из опыта, — шепчет он, чувствуя, как по спине ползет вошь. — И эта вошь — тоже опыт. Бесценный.

Локк исчезает в глубине дома, а младенец на корыте продолжает смотреть в пустоту, пока на его «чистую доску» медленно оседает копоть оксфордских печей.

Процесс над салемскими ведьмами

10 июня 1692 г.

В этот день была повешена Бриджет Бишоп — первая жертва массовой истерии в колониальной Америке. Символ того, как страх и фанатизм могут разрушить правосудие.

Воздух Салема густ, как прокисший кисель, перемешанный с известью и сажей. Вязкая сырость лезет в ноздри, пахнет прелой кожей, невымытым телом и сырым деревом, которое не хочет гореть. Бриджет Бишоп волокут к Холму Виселиц через двор, заваленный склизким мусором и костями недоеденных рыб.

— Ведьма! — сипло выкрикивает некто с лицом, похожим на раздавленную репу.

Он пытается плюнуть, но слюна лишь повисает на его собственном подбородке серой нитью. Грязь чавкает под сапогами констеблей. Кто-то в толпе истошно икает, монотонно, в такт шагам. Мимо проносят таз с мутными помоями, задевая плечо осужденной; черная жидкость пачкает ее алое платье — то самое, слишком яркое, слишком дерзкое для этой серой плесени.

Преподобный Паррис, чье лицо лоснится от нездорового пота, сует ей под нос распятие, испачканное чем-то бурым. Он шепчет слова молитвы, но из его рта вылетает лишь тяжелый дух непереваренной капусты. Бриджет молчит. Ее взгляд уперт в затылок идущего впереди стражника, где на воротнике застыла жирная, сонная муха.

Суд закончился в тесном, зловонном зале, где судьи чесались под париками, а девочки-обвинительницы бились в припадках, пуская пузыри и тыча пальцами в пустые углы. Воздух там был спертым, выдыхаемым сотней легких по кругу, пока истина не задохнулась окончательно. Правосудие обернулось возней в выгребной яме: свидетели клялись, что видели ее черного кота с человеческим лицом, и судья Хэторн важно кивал, выковыривая грязь из-под ногтя.

У виселицы стоит телега с перекошенным колесом. Палач, чьи руки покрыты цыпками и мелкими бородавками, неловко возится с пеньковой веревкой. Она жесткая, колючая, пахнет дегтем. Бриджет поднимает глаза. Небо над Массачусетсом низкое, свинцовое, готовое раздавить этот городишко, как гнилое яблоко.

Слышен хруст. Не шеи — кто-то из толпы просто наступил на сухую ветку, а может, сломал куриную кость. В наступившей тишине слышно только, как свинья чешется о забор в соседнем дворе. Тело дергается, ботинки Бриджет — поношенные, с кривыми пряжками — бессмысленно сучат в воздухе, пытаясь нащупать опору в пустоте.

Толпа не расходилась. Ждали чего-то еще — может, грома, может, если повезет, чьих-то еще кишок. Но пошел только мелкий, въедливый дождь. Салем погружался в сумерки, воняющие несвежим мясом и святым духом, а на дереве, мерно покачиваясь, засыпала первая жертва общего, уютного безумия.

Открытие Лондонской биржи

1698 год

Брокеры переехали из кофеев в специализированное здание. Момент, когда азарт превратился в институцию. Пафос в создании «сердца капитализма»: отныне судьбы колоний и армий решались не только в кабинетах министров, но и через котировки акций на бирже.

Лондон смердел. Смердел мокрой шерстью, прогорклым жиром и кислым пивом, которое выплескивали прямо под копыта ломовых лошадей. В Сити, в узком горле Чендж-аллея, плотность тел достигла той степени, когда личное пространство превращается в общую, липкую и горячую биомассу.

Брокеры бежали. Они уходили из «Джонатана» и «Гаррауэя», из привычного уюта заплыванных кофеев, где судьбы Ост-Индской компании обсуждались вперемешку с жареными каштанами. Теперь их ждало Здание.

В новом зале Королевской биржи потолок терялся в серой мути, похожей на застывший кисель. Сверху, с невидимых балок, капало — то ли конденсат, то ли слезы святых, не выдержавших зрелища. Кто-то в углу истошно кашлял в грязный кружевной платок, выплевывая куски легких прямо на свежавыкрашенный пол. Рядом господин в напудренном парике, перекосенном набок, как дохлая крыса, яростно вгрызлся в яблоко, сок которого стекал по его подбородку, смешиваясь с пудрой в серую кашницу.

— Пять фунтов за Ост-Индию! Слышите, вы, выродки?! — орал человечек с дергающимся глазом, вцепившись в обшлаг соседа. — Корабли в Бенгалии, порох сух, а вы жметесь!

Его не слушали. Здесь не слушали — здесь впитывали гул. Звук биржи напоминал утробное рычание огромного зверя, которому в глотку засыпали битый кирпич. Азарт, еще вчера пахнувший дешевым джином и авантюрой, вдруг оделся в камень и дуб. Он стал Институцией.

У стены стоял стол. На нем — ворох бумаг, заляпанных чернилами и чьей-то кровью (кто-то в давке прищемил палец дверью). Клерк с лицом, напоминающим вареную репу, методично выводил цифры. Каждая загогулина в его реестре означала, что где-то за тридевять земель, в душных джунглях, полк сипаев пойдет на убой, а торговый флот сменит курс. Судьбы миров теперь решались здесь, между этим кашляющим господином и тем, кто незаметно мочился в углу за колонной.

Министры в Уайтхолле еще верили, что правят они. Глупцы. Власть уползла в этот каменный мешок.

— Смотрите, смотрите! — прохрипел кто-то, указывая наверх. — Курс падает!

Толпа качнулась. Один огромный, многоголовый организм, одетый в бархат и лохмотья, издал стон. В этом звуке было все: и величие империи, и вонь нечистот, и ироничный абсурд бытия. В центре зала кто-то упал, и его тут же затоптали, не заметив, продолжая выкрикивать цифры. Под ногами хрустели кости и чьи-то забытые трости.

Над всем этим хаосом, на галерее, стоял человек в черном. Он не смотрел на брокеров. Он смотрел в пустоту, ковыряя в зубах обломком пера. Сердце капитализма забилося в первый раз — тяжело, с перебоями, выталкивая в вены мира не кровь, а ликвидность, густую и темную, как деготь.

Лондон за окнами продолжал гнить, но теперь это была гниль с золотым отливом.

Царевна Софья — узница Новодевичьего монастыря

1698 г.

После подавления Стрелецкого бунта Петр I решил окончательно сломить свою сестру-соперницу. Напротив окон кельи Софьи в Новодевичьем Петр приказал повесить тела трехсот стрельцов. Трое из них висели прямо у ее окна, держа в руках «челобитные» к ней о захвате власти. Софья была вынуждена смотреть на это в течение нескольких месяцев. Это был пафос кровавого и беспощадного финала борьбы за власть в России, где семейные узы ничего не значили перед государственным интересом.

Сырость в келье была такой плотной, что ее, казалось, можно было жевать, как старый, непропеченный хлеб. Воздух пах кислыми щами, невымытым телом и замерзающим на лету железом. Софья, обложенная тяжелыми, засаленными соболями, сидела у самого окна, вжимаясь лбом в холодную слюду. Кость ее лица, когда-то властная, теперь будто размякла, поплыла под грузом бессонницы.

За окном царил серый, чавкающий хаос. Московское небо низко висело над Новодевичьим, истекая липким туманом.

— Гляди, матушка, — прохрипела черница, ковыряя в ухе грязным пальцем. — Опять качнулись. К дождю, верно.

Прямо перед глазами царевны, отделенные лишь тонкой преградой, висели трое. Они были близко — так близко, что Софья видела заиндевевшие ресницы на посиневших лицах. Стрельцы. Недавняя опора, буйная плоть бунта, теперь они превратились в нелепые кожаные мешки, набитые трупным окоченением.

Самый рослый, с растерзанной бородой, держал в заскорузлых, фиолетовых пальцах свиток — челобитную. Бумага намокла, пошла пузырями, но буквы, выведенные убористым почерком, все еще кричали о власти. Пальцы мертвеца сжимали ее с какой-то издевательской, судорожной нежностью, словно это был не донос, а единственное утешение.

Брат Петр умел шутить. Ирония его была по-немецки аккуратной и по-татарски мясницкой. Он не просто убил — он заставил созерцать.

Ветер качнул виселицу. Мертвец ударился сапогом о стену кельи — глухо, буднично. Бум. Бум. Словно кто-то вежливый, но бесконечно терпеливый просился на чай.

В углу кельи в тазу плавала какая-то дрянь; там возилась сонная муха, неведомо как выжившая в этот предзимний час. Грязь была везде: в складках парчи, под ногтями, в самих молитвах, которые Софья механически перемалывала беззубым ртом. Петруша, брат-антихрист, прислал не просто смерть — он прислал сценическую декорацию, в которой время остановилось.

— Триста их там, — прошамкала старуха, вытирая нос подолом. — Как ворон на плетне. Надулись, сердешные.

Софья не ответила. Она смотрела на челобитную в руках мертвеца. В этом был высший, тошнотворный абсурд: мертвые просили живую о том, чего не существовало. Власти нет. Есть только этот запах гниющего мяса, смешанный с ароматом ладана, и бесконечное «бум-бум» сапога о камень.

Она вдруг коротко, по-птичьи хохотнула.

— Не приму, — прошептала она, обращаясь к мертвецу с челобитной. — Срок вышел.

Ирония судьбы: она, мечтавшая о Византии, о золотых тронах и мудрости книг, стала единственным свидетелем этого бесконечного кордебалета на пеньковых веревках.

Слюда окна запотела от ее дыхания. Софья провела пальцем, стирая влагу, и встретила взглядом с остекленевшим глазом стрельца. Тот смотрел на нее с пониманием. В государстве,

где брат вешает верных слуг у сестринского окна, истинный покой обретает только тот, кто уже перестал дышать.

Снаружи, в тумане, кто-то громко выругался, послышался звук разливаемой водки и чавканье сапог по грязи. Жизнь продолжалась, но здесь, в келье, она уже свернулась в тугой, смердящий узел, который некому было разрубить. Софья прикрыла глаза, а за окном мертвец снова вежливо постучал в стену. Бум. Пора было пить пустой кипяток.

Истребление додо (дронта)

1700 год

Примерная дата окончательного исчезновения птицы на острове Маврикий. Пафос трагической ответственности: это был первый в истории случай, когда человечество осознало, что оно способно навсегда стереть биологический вид с лица земли. Додо стал вечным символом человеческой неосмотрительности.

Дождь на Маврикии — не вода, а теплая, липкая слизь, перемешанная с птичьим пометом и перегноем. В воздухе висит запах гниющей рыбы и немытого человеческого тела. Капитан ван Неку, чья камзольная петля держится на честном слове и слое засохшей грязи, сплевывает в жирную лужу. Под ногами чавкает.

— Хватай ее, дурак! За крыло бери, за гузку! — орет боцман, чье лицо напоминает разваренную говяжью голову.

Матрос Ганс, кособокий, с вечно мокнущим глазом, лезет в гущу папоротников. Там, в тени гигантских лопухов, копошится Оно. Серая туша, несуразная, как плохо набитый матрас. Птица. Дронт. У нее нет страха, только вечное, идиотское недоумение в черных бусинах глаз. Она не бежит. Она ждет, переминаясь на толстых чешуйчатых лапах, будто надеется, что ее сейчас покормят или хотя бы прирежут без лишней суеты.

— Гляди, капитан, — Ганс вываливается из кустов, прижимая к груди брыкающееся, тяжелое тело. — Жирная. Как кума моя из Лейдена. Только пахнет хуже.

Птица издает странный звук — не то стон, не то икание. Из ее загнутого, массивного клюва течет мутная слюна, капая на стоптанный башмак Ганса. Вокруг суетятся люди в лохмотьях, которые когда-то были мундирами. Кто-то ковыряет в зубах щепкой, кто-то мочится прямо в густые заросли, не снимая штанов. Хаос, вонь, хрипы.

Ван Неку достает тесак. Сталь тусклая, в зазубринах. Он смотрит на птицу. В этом взгляде нет охотничьего азарта, только бесконечная, свинцовая скука существа, которое уже все разрушило, но еще не осознало масштаба.

— Последняя, — шамкает боцман, почесывая гнилую десну. — Парни говорят, больше не видать. Всех сожрали. Или свиньи вытоптали.

Капитан медлит. В этот момент над островом повисает странная, ватная тишина. Слышно только, как падает капля с листа и как тяжело дышит птица. В ее тупом, немигающем взгляде отражается вся нелепость их присутствия здесь — этих потных, больных людей в ржавых кирасах посреди райского сада, превращенного в нужник.

— Ну и хрен с ней, — выдыхает ван Неку.

Удар тяжелый, мясницкий. Кровь — густая, темная — брызжет на серые перья, на грязные руки Ганса, на корни мангров. Птица даже не вскрикнула, просто обмякла, превратившись в грудку бесполезного мяса и пуха.

Ганс вытирает ладонь об штаны, размазывая бурое пятно.

— Жесткая будет, — философски замечает он. — Варить долго надо.

Они уходят, волоча тушу по грязи, оставляя за собой борозду. А над Маврикием продолжает идти слизистый дождь. Мир стал легче на одну нелепую жизнь, но тяжелее на одно вечное проклятие, которое эти люди еще не умеют назвать по имени. Они просто идут обедать, хлюпая сапогами в пустоте, которая теперь никогда не заполнится.

Самосожжение 47 ронинов

30 января 1703 г.

Высший акт самурайской чести в Японии. После успешной мести за господина, 47 воинов одновременно совершили сэппуку, став вечным символом верности.

Снег валил жирный, серый, перемешанный с сажей и ошметками чьих-то выбитых зубов. В имении лорда Киры воняло прокисшим мисо, нечистотами и застарелым страхом. Оиси, чье лицо напоминало залежавшуюся, изрытую оспой репу, сплюнул густую, бурую слюну прямо на расшитый шелк брошенного кем-то веера. Вокруг копошились воины — мокрые, облезлые, в доспехах, стянутых ржавой проволокой и гнилыми кожаными ремнями.

Кто-то в углу мучительно, с присвистом блевал. Мимо протащили голову Киры, насаженную на кривую палку; голова скалилась беззубым ртом, из уха лениво выползал жирный сонный червь.

— Чисто сработали, — прохрипел Оиси, потирая заскорузлой ладонью поясницу. — С богом, что ли.

Двор храма Сэнгаку-дзи встретил их не покоем, а липкой суетой. Чиновники в высоких шапках, похожих на перевернутые ночные горшки, семенили по грязи, разбрызгивая лужи. Пахло мокрой псиной и ладаном. Самураи сидели на циновках, тесно прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Воздух был густым, хоть топор вешай — смесь пота, сырого железа и предсмертной икоты.

Один из ронинов, совсем мальчишка с вывалившимся кадыком, никак не мог распутать завязки на животе. Пальцы его, синие от холода, дрожали, путаясь в грязном исподнем.

— Помочь? — буркнул сосед, у которого вместо носа была багровая каверна.

— Сам... я сам... — пропищал юноша и вдруг громко, непристойно испортил воздух.

Никто не обернулся. Над толпой плыл навязчивый, абсурдный звук: кто-то из храмовых служек методично точил тупую пилу о камень. Вжик-вжик. Вжик-вжик.

Наконец, принесли ножи. Они были короткими, некрасивыми, похожими на кухонный инвентарь для разделки тухлой рыбы. Оиси взял свой, примерился. Лезвие вошло в плоть со звуком рвущегося мокрого холста. Он не вскрикнул, только лицо его внезапно стало очень важным и глупым. Внутренности, серые и дымящиеся на морозе, лениво поползли на колени, как живые склизкие гады.

Вокруг началось массовое, неритмичное копошение. Сорок семь человек кряхтели, тужились и валились в жижу, превращая белый снег в нечто невообразимо бурое. Кайсяку — те, кто должен был отрубать головы — опаздывали, поскальзывались на кишках, ругались вполголоса, вытирая заляпанные лбы обшлагами. Одному ронину голову отсекли не сразу, и он еще долго мотал обрубком шеи, выпуская фонтанчики темной, почти черной крови в лицо соседа.

С неба упала дохлая ворона. Она шмякнулась прямо в центр круга, подняв фонтан кровавой извести.

— Верность, — прошамкал Оиси, глядя, как его собственная рука, уже не принадлежащая ему, судорожно сжимает горсть земли вперемешку с конским навозом. — Вот она, сука, какая... верность.

И он ткнулся лицом в эту жирную, чавкающую кашу, пока над храмом разливался колокольный звон, тяжелый и бессмысленный, как удар обухом по пустому ведру.

Основание Санкт-Петербурга

27 мая (16 мая по ст. ст.) 1703 г.

Петр I заложил первый камень Петропавловской крепости на болотах, наперекор природе и врагам. Рождение «парадиза» и новой имперской столицы.

Гнилая водяная пыль висела в воздухе, перемешиваясь с махоркой и запахом прелой овчины. Под сапогом что-то чавкнуло — то ли бездонная невская топь, то ли чье-то размякшее плечо. Здесь, на Заячьем острове, земля не держала веса; она хлюпала, изрыгая пузыри зловонного газа, будто само нутро хтонического чудовища протестовало против незваных гостей.

Царь был неестественно высок и дерган. Его огромная фигура в заляпанном дегтем кафтане возвышалась над туманом, как мачта тонущего корабля. Лицо Петра, тронутое конвульсией, лоснилось от пота и невской влаги. Он схватил засаленный заступ, вырвав его из рук замершего в поклоне офицера. Офицер пах перегаром и несвежим бельем; из его расстегнутого воротника торчал серый, копошащийся ворот вшей.

— Здесь городу быть! — прохрипел Царь. Голос его, тонкий и срывающийся, утонул в общем гвалте.

Вокруг копошились тени. Солдаты в промокших мундирах тащили склизкие бревна, взяли по пояс в рыжей жиже, ругались густо и безнадежно. Кто-то зашелся в лающем кашле, выплевывая на серый мох куски легких. Мимо пронесли ведро с мутной жижей, которую здесь называли сбитнем; в нем плавала дохлая муха и чья-то пуговица.

Петр резко опустил на колени прямо в грязь. Грязь была всюду: на его манжетах, на орденской ленте, в складках его судорожно сжатого рта. Он заложил первый камень — обломленный, холодный гранит, покрытый склизким лишайником. Камень тут же начал медленно, неотвратимо погружаться в чавкающую пустоту.

— Парадиз... — прошептал кто-то сзади, и в этом слове было столько же яда, сколько в болотной воде.

Справа, у самого края воды, Меншиков в сбитом набок парике пытался оттереть шелковым платком пятно дегтя с панталон, но только размазывал черноту, превращаясь в подобие пятнистого зверя. Карлик в шутовском колпаке, дрожа от холода, мочился прямо в вырытый ров, меланхолично наблюдая, как желтая струя смешивается с серой пеной залива.

С севера тянуло гарью и шведским порохом. Небо, низкое и свинцовое, давило на затылки, заставляя людей сутулиться еще сильнее. Здесь не было триумфа — была лишь иступленная, абсурдная воля, вбивающая сваи в ничто. Строили не крепость, а памятник упрямству, возведенный на костях, которые еще не успели остыть.

Из тумана выплыла чья-то лошадиная морда, облепленная тиной. Царь обернулся, его глаза бешено вращались, выискивая в этом хаосе признаки будущего величия, но видел он лишь пар, вырывающийся из сотен глоток, и бесконечную, торжествующую хлябь.

Галлей и его комета

1705 год

Эдмунд Галлей рассчитал орбиту кометы и заявил: она вернется в 1758-м. Пафос в том, что он не дождался этого дня, но его расчеты оказались верны. Момент, когда человек перестал бояться «небесных знамений» и понял, что даже у мистических хвостатых звезд есть расписание.

В Лондоне воняло кислым сукном, женой костью и нечистотами, которые усердно взбивали колеса пролеток. Галлей, Эдмунд, человек с лицом, будто вылепленным из сырого овечьего жира, сидел в каморке, где потолок давил на затылок, как крышка гроба. На столе среди обглоданных куриных хребтов и застывших лужиц воска лежали бумаги, исчерканные цифрами, похожими на лапки раздавленных насекомых.

За стеной кто-то долго и нутужно харкал, потом послышался глухой удар — падение тела или мешка с углем. Галлей не обернулся. Он жевал сухую корку, хруст которой отдавался в ушах грохотом обвала.

— Вернется, — просипел он, обращаясь к жирной мухе, завязшей в чернильнице. — В пятьдесят восьмом, сука, притащится. Как миленькая.

В комнату ввалился некто в засаленном камзоле, пахнувший конюшней и дешевым джином. Он споткнулся о стопку фолиантов, выругался и вытер сопли рукавом, размазав грязь по небритой щеке.

— Помилуйте, мистер Галлей, — прохрипел пришелец, ковыряя в ухе мизинцем с черным ногтем. — Небесное знамение! Гнев Божий! На небе хвост горит, бабы в канавах рожают недоносков с кошачьими головами, а вы тут в цифири зарылись. Страшно же!

Галлей медленно повернул голову. Его правый глаз, затянутый легкой дымкой катаракты, смотрел мимо собеседника, в липкую темноту угла.

— Страх — это от невежества, любезный, — Галлей иронично скривил рот, обнажив желтые, изъеденные кариесом зубы. — Страх — это когда ты не знаешь, когда тебе дадут по роже. А я знаю. У этой звезды расписание, понимаешь? Как у портовой шлюхи. Придет, покрутит хвостом и уйдет. И в пятьдесят восьмом году, когда из меня уже черви свяжут кружева, она снова высунется.

Он ткнул пальцем в расчеты. Палец был в чернилах и крошках.

— Нет тут никакой мистики. Одна голая механика. Шестеренки божьи скрипят, маслом не мазаны, но крутятся исправно. Не молиться надо, а логарифмы считать.

Пришелец мелко перекрестился, задел локтем тарелку, и кость с противным стуком покатилась по полу. Галлей проводил ее взглядом. В горле у него клокотало — то ли смех, то ли кашель.

— Я не доживу, — выдохнул он, и в этом выдохе было столько спокойной, брезгливой уверенности, что гостю стало не по себе. — Тело сгниет, парик выбросят на помойку, а цифра останется. Цифра не тухнет.

За окном Лондон захлебывался в сумерках. В тумане кричали, где-то завывала собака, сорвав голос на хрип. Галлей снова взял перо. Оно скрипело по бумаге, как нож по кости. Мир переставал быть театром теней и духов, превращаясь в огромный, потный, лязгающий агрегат, где у каждой кометы был свой номер и свой час в очереди на выход.

Он знал, что прав. И эта правота была холоднее и страшнее любого божьего гнева.

Появление секундной стрелки на часах

1707 год

Момент, когда жизнь начала «тикать». Пафос триумфа точности: время перестало быть ленивым течением часов и стало набором мгновений. Человечество начало ценить каждую секунду, что позже породило индустриальный ритм жизни.

Сквозняк в мастерской пах кислым луком, старой медью и невымытым телом подмастерья. Подмастерье, сопливый недоросль с вывернутой губой, сопел над верстаком, вытирая замасленной тряпкой вековую пыль с подоконника. Пыль была жирная, серая, как и все в этом Лондоне 1707 года. На улице орали, тащили корову, кто-то захлебывался кашлем в сточной канаве, а здесь, в полумраке, пахло новой эрой.

Мастер Грэм, в засаленном парике, из-под которого выбивались потные седые пряди, ковырялся в чреве золотого чудовища. Часы. Огромные, пузатые, они лежали на столе, как испорченный зверь. Грэм дышал тяжело, со свистом, его пальцы — узловатые, черные от масла — дрожали.

— Гляди, дурак, — прохрипел Грэм, не оборачиваясь к парню. — Гляди, как оно дохнет. Старое время дохнет.

Раньше время было как кисель. Тянулось от заутрени до обеда, от заката до первого петуха. Ленивое, жирное, оно позволяло человеку чесать в затылке и плевать в потолок. Но Грэм вставил туда ее. Тонкую, как волос грешницы, стальную иглу.

Раздался щелчок. Потом еще один. Сухой, костяной звук, будто кто-то ломает сухие пальцы в полной тишине.

— Тик.

Мастер замер. Подмастерье перестал сопеть и вытаращил глаза на циферблат. Маленькая, нервная стрелка, похожая на лапку испуганного насекомого, дернулась. Она не плыла — она прыгала. Раз разрез, два разрез. Время теперь не текло, оно рубилось на куски.

— Ты видишь? — Грэм обернулся, его лицо в свете сальной свечи казалось слепленным из сырого теста. — Оно больше не ждет. Оно кусается. Теперь каждая секунда — как гвоздь в крышку гроба. Раньше ты проспал час — и Бог с тобой. А теперь ты проспал всего одну минуту — и это шестьдесят таких ударов. Шестьдесят ударов, которые ты украл у короля, у неба, у смерти.

Снаружи, за грязным стеклом, мир продолжал хлюпать грязью. Проехал воз, скрипя несмазанным колесом. Проститутка в рваном корсете визгливо расхохоталась. Но здесь, в тесноте, забитой шестеренками и обрезками пружин, все изменилось. Звук секундной стрелки вгрызался в череп. Он был неумолим. Он был честен до тошноты.

— Теперь они все побегут, — Грэм иронично оскалился, обнажая гнилые пеньки зубов. — Не завтра, так через сто лет. Будут сверять по этой палке свою жизнь. Будут жрать по стуку, совокупляться по стуку, подыхать в аккурат к делению на циферблате. Точность, парень! Триумф! Мы заперли вечность в клетку из шестеренок.

Стрелка дергалась: тик-тик-тик. Гнетущий ритм заполнял комнату, вытесняя воздух. Казалось, стены мастерской сдвигаются под этот звук. Подмастерье вдруг начал икать — в такт стрелке. Мастер Грэм схватил его за ухо, потянул к себе, обдавая запахом перегара и триумфа.

— Слышишь? Жизнь начала тикать. Больше никакой лени. Время стало деньгами, кровью, паром. Ты уже опаздываешь, щенок. Все мы уже безнадежно опаздываем.

Он отпустил ухо парня и снова склонился над механизмом. Стрелка неумолимо отсчитывала мгновения, превращая величие человеческого бытия в мелкую, суетливую крошку. В углу мастерской жирная крыса грызла сухарь, и ее челюсти работали точно в такт новому, индустриальному сердцу мира.

Корабль «Сан-Хосе» — самый богатый клад в истории

8 июня 1708 г.

Испанский галеон, груженный золотом и изумрудами всей Южной Америки, шел в Европу, но был атакован англичанами. В разгар боя пороховой погреб галеона взорвался. Корабль со всеми сокровищами (оценочно 20 миллиардов долларов сегодня) ушел на дно за несколько минут. Его искали 300 лет и нашли только в 2015-м. Это «Святой Грааль» всех кладоискателей — момент осознания, что на дне моря лежит целое состояние, которое невозможно поднять без международного скандала.

Вязкая, цвета перестоявших щей Атлантика хлюпала в шпигатах. По палубе «Сан-Хосе», путаясь в мокрых фалдах камзолов, ползали полуживые козы; их копыта скользили по слизи, перемешанной с разлитым лампадным маслом и чьей-то рвотой. Адмирал Касаньяс, в душном парике, похожем на перевернутое гнездо испуганной птицы, грыз почерневшую куриную ногу, не замечая, как по подбородку течет жирный соус вперемешку с копотью.

— Золото... — просипел канонир с выбитым глазом, впихивая в зев пушки тряпичный пыж, от которого несло нечистотами и застарелым потом. — Инка кастрированного золота. Тьфу.

Воздух был плотным, хоть режь его тупым тесаком. Пахло кислым вином, мокрой шерстью и грядущей смертью. Англичане висели на горизонте серыми вшами, выплевывая огонь. Ядро, чавкнув, вошло в борт, размозжив в кашу клетку с экзотическими попугаями; перья — алые, желтые, изумрудные — липли к потным лицам матросов, превращая их в нелепых маскарадных чудищ.

В трюмах, под слоем гнили и крысиного помета, лежали слитки. Они не сияли. В этой густой, донной тьме золото казалось просто тяжелыми, холодными кирпичами, от которых ныла поясница. Сундуки с изумрудами из Мусо, набитые плотно, как требуха в колбасе, глухо стучали друг о друга при качке. Двадцать миллиардов грядущих проклятий в немом безмолвии.

А потом пришел хрип. Пороховой погреб отозвался не взрывом — утробным, ироничным рыком земли.

Мир вывернулся наизнанку. Галеон не тонул — он всасывался в океан, как сопля в ноздрю великана. Огромная туша корабля, груженная всей жадностью Южной Америки, пошла вниз медленно, с достоинством разваливающегося скелета. Вода, вскипая пузырями, заглатывала хохочущих от ужаса офицеров, связки золотых дублонов и недоеденную адмиральскую курицу.

Триста лет над ними была лишь холодная, равнодушная жижа и копошение глубоководных гадов, похожих на ожившие кошмары Босха.

Когда в две тысячи пятнадцатом железная клешня робота коснулась илистого дна, она наткнулась на чашку. Фарфоровую, треснувшую, в окружении пушек, облепленных ракушками, как бородавками. Сверху, за толщей воды, политики уже точили зубы, юристы в накрахмаленных воротничках брызгали слюной, выгрызая право на гниль, а государства сучили ножками в предвкушении дележа.

Святой Грааль лежал в говне и песке. Великое сокровище, которое теперь нельзя было даже пошевелить, чтобы не вызвать международную истерику. Золото молчало. Оно превратилось в памятник абсурду: монументальное состояние, которое принадлежит всем и никому, охраняемое лишь мутью и памятью о взорванном порохе.

Полтавская битва

27 июня (8 июля) 1709 года

Момент рождения Российской империи. Пафос в том, что Петр I на поле боя разгромил считавшуюся непобедимой шведскую армию Карла XII. За один день баланс сил в Европе навсегда изменился: одна великая держава пала, другая — возвысилась.

Грязь под Полтавой имела вкус дегтя и немытого человеческого тела. Она чавкала, всасывая в себя сапоги, обломки фургонов и обрывки шведских штандартов. Воздух застыл киселем, пропитанным гарью, кислым потом и запахом развороченных внутренностей.

Государь Петр Алексеевич, зажатый в толпе потных преображенцев, казался нелепо длинным, вырубленным из сырого дерева идиолом. Его треуголка сбилась на затылок, обнажив высокий, лоснящийся от испарины лоб. Правая щека дергалась в такт далекому пушечному лаю. Он не кричал «за Отечество» — он хрипел, пуская слюну, и тыкал заскорузлым пальцем в сторону дымной завесы, где среди серого марева металась тень в синих мундирах.

— Дожали-таки, курвы... — просипел кто-то рядом, захлебываясь кашлем.

Карл, еще вчера казавшийся античным богом, теперь напоминал тряпичную куклу, которую волокли на носилках среди общего содома. Его шведы, эти чистенькие, отутюженные протестантские машины, превратились в кучу окровавленного тряпья. Они ползали в жиже, пытаясь удержать ускользающую жизнь, а русские мужики в пропотевших кафтанах деловито докалывали их штыками, будто резали кабанцов на подворье.

Все было мелко, тесно и страшно. Пространство сузилось до расстояния вытянутой руки. Огромный бородатый grenadier с выбитым глазом совал какому-то пленному офицеру в рот грязную корку хлеба, бормоча: «Ешь, милоч, теперича ты наш, имперский...». Пленный плакал, и слезы прокладывали чистые дорожки на его лице, покрытом копотью.

Баланс сил в Европе рухнул не под звуки труб, а с сухим хрустом ломающихся костей. Великая держава кончалась здесь, в канаве, под гогот пьяных денщиков и визг недорезанных лошадей.

Петр схватил за ворот подвернувшегося Меншикова и долго, с каким-то утробным рыком, вглядывался в его лицо, пока не разразился хриплым хохотом, выплевывая слова вместе с густой слюной:

— Виктория! Виктория, сукин ты сын!

В воздухе висела тяжелая, липкая тишина, которую внезапно прорезал крик петуха. Посреди дымного поля, где только что решалась судьба Европы, стоял грязный стол. На нем — серебряная посуда, объедки и лужа пролитого вина, похожая на карту новых границ. Империя рождалась не в блеске золота, а в хрипах, мате и запахе дегтя. Старый мир рухнул в канаву, а новый — кособокий, потный и нетрезвый — неуклюже лез на престол, вытирая окровавленные руки о подол истории.

Спор Ньютона и Лейбница о приоритете

1711 г. (публичное обвинение в плагиате)

Два гения одновременно создали высшую математику. Ньютон использовал все влияние Королевского общества, чтобы уничтожить репутацию Лейбница. Момент величайшего интеллектуального эгоизма в истории науки.

Лондон задышался в желтой жиже. Туман, перемешанный с угольной гарью и испарениями нечистот, вползал в ноздри, оседая на языке привкусом жженой кости.

В зале Королевского общества пахло кислым сукном, несвежим дыханием старых людей и мокрой собачьей шерстью. Сэр Исаак сидел во главе стола, неподвижный, как соляной столп, в парике, похожем на сбитый ком грязной ваты. Его пальцы, испачканные чернилами и сулемой, нервно перебирали края пергамента. Он не смотрел на присутствующих. Он смотрел сквозь них, туда, где в пустоте вращались ледяные сферы, подчиненные его флюксиям.

— Плагиат, — проскрежетал кто-то в углу, и этот звук утонул в коллективном кашле.

На столе лежала «Commercium Epistolicum» — приговор, сброшюрованный в кожу мертвого теленка. Ньютон сам составил этот отчет, сам назначил судей, сам нашептал им вердикт. Это была хирургическая операция без наркоза.

А там, в Ганновере, Лейбниц — смешной, суетливый, в огромном, пахнущем молью парике — задышался в придворных интригах. Он изобрел знаки, изящные петли интегралов, похожие на рыболовные крючки, которыми он выуживал бесконечность из мутной воды бытия. Но здесь, в Лондоне, эти петли превращались в удавку.

По залу пронесли поднос с остывшим чаем. Капля темной жидкости упала на чертеж, расплываясь грязным пятном, похожим на трупный остров. Сэр Исаак внезапно оскалился. Его зубы были желтыми, как старые клавиши клавесина.

— Он украл метод, — прошептал Ньютон, и голос его был сух, как треск ломающейся сухой ветки. — Он взял мою Вселенную и переименовал в ней звезды.

В углу зала какой-то лакей с шумом высморкался в кулак и вытер руку о гобелен. Мир разваливался на куски: здесь — заплеванная мостовая и интриги дряхлых ученых, там — чистая геометрия Бога. И эти два пространства никак не могли сойтись.

Ньютон медленно поднял перо. Оно выглядело как стилет. Он вписывал в протокол окончательное уничтожение врага, и в этот момент его лицо, изборожденное морщинами, как топографическая карта ада, светилось почти религиозным восторгом. Он не просто забирал приоритет — он вычеркивал имя Лейбница из ткани времени, превращая живого человека в типографскую опечатку.

За окном проехала телега, груженная требухой. Скрежет колес по булыжнику отозвался в черепах присутствующих невыносимой болью. Вселенная была исчислена, взвешена и признана собственностью одного человека. Великая истина родилась в грязи, среди запаха мочи и звуков кишечного расстройства.

Паровая машина Ньюкомена

1712 год

Томас Ньюкомен создал первый надежный атмосферный двигатель для откачки воды из шахт. Пафос начала «эпохи пара»: человек впервые заставил огонь и воду выполнять работу тысяч лошадей. Это была первая искра Промышленной революции.

В Дадли хлюпало. Небо, цвета застиранной мешковины, провисло до самых труб, изрыгая серую взвесь — не то дождь, не то чешую небесных рыб. У входа в шахту Коннигри толпились существа в отрепьях, мазанные углем и липким потом; кто-то сморкался в кулак, кто-то жевал корень, похожий на палец мертвеца. В центре этого месива, среди чада и лязга, возвышалось Оно.

Огромное, кособокое дерево из железа и кирпича. Машина.

Томас Ньюкомен, похожий на промокшую сову в просаленном камзоле, совал грязный палец в зазоры между заклепками. Он что-то бормотал про «силу пустоты», но слова его тонули в утробном рыке котла. Рядом подмастерье, сопливый малый с бельмом на глазу, бил палкой тощую собаку, которая пыталась помочиться на поршень.

— Живее, мать твою за ногу! — взвизгнул Ньюкомен, когда цепь на коромысле дернулась, выплевывая струю горячей слизи. — Пускай пар!

В цилиндре что-то охнуло, будто захлебнулся великан. Вверх взметнулось чудовищное железное плечо, облепленное ржавчиной и птичьим пометом. Толпа ахнула, кто-то упал в грязь, крестясь заскорузлыми пальцами. Вода, черная и зловонная, хлынула из недр земли, выблеванная медным горлом насоса. Она заливала сапоги, мешалась с навозом, несла в себе щепки и чьи-то забытые кости.

Это был триумф. Огонь жрал уголь, вода превращалась в ярость, и железная дура, качаясь, заменяла пятьсот лошадей, которые сейчас, должно быть, дохли где-то в стойлах, не понимая, что их время вышло.

— Смотрите, свиньи! — кричал Ньюкомен, хватая за грудки проходящего мимо пастора, у которого из кармана торчала недоеденная селедка. — Это же сам Господь дышит! Вакуум! Понимаешь ты своим бараньим умом? Пустота тянет!

Пастор икнул, обдав Ньюкомена запахом дешевого эля, и меланхолично плюнул в сторону сипящего поршня. Машина ответила ему оглушительным ударом — металл о металл. Сверху, с деревянных мостков, упала дохлая крыса, угодив прямо в кипящий котел. Никто не заметил.

Мир погружался в густой, жирный туман. Сквозь него едва проглядывали очертания новой эры: бесконечные рычаги, чад, копоть, забивающая легкие, и этот мерный, сводящий с ума стук железного сердца. Человек приручил стихию, чтобы она выкачивала дерьмо из его подвала.

Вдалеке кто-то завыл — то ли от восторга, то ли от зубной боли. Над шахтой, в серой мгле, медленно и нелепо махало железное крыло, вбивая первый гвоздь в гроб тишины.

Предательство принца Алексея

1716 г.

День побега в Австрию. Сын первого русского императора Петра I бежал за границу, надеясь на помощь врагов отца. Пафос семейной трагедии, закончившейся пытками и смертью царевича в Петропавловской крепости от рук собственного отца.

Сырая петербургская мгла, перемешанная с конским навозом и запахом гнилой рыбы, вползала под кафтан, липла к телу чесоткой. Алексей Петрович, сутулый, с вытянутым, как у испуганной птицы, лицом, брел через двор, спотыкаясь о невидимые в тумане коряги. Где-то в глубине верфи выл брошенный пес, и этот звук перекрывался истошным, кашляющим хохотом невидимых плотников.

— Ефросинья, девка, где ты? — просипел царевич, хватаясь за склизкую стену.

Вместо ответа из тумана выплыла чья-то рябая физиономия, обдала перегаром и канула в серую жижу. В колыбели новой империи все было недостроено, все сочилось сукровицей и дегтем. Отец, гигант с дергающимся глазом, строил рай, а выходил скотный двор, заваленный чертежами и голландским табаком.

Царевич влез в карету. Внутри пахло старой кожей и чесноком. Его спутники — тени с небритыми щеками — копошились в углах, шурша бумагами. Это было не бегство героя, а судорога червя, которого пытаются раздавить огромным ботфортом.

— К цесарю... к Карлу... — бормотал Алексей, кусая заусеницы до крови. — Там камни сухие. Там папаша не достанет своими мозолистыми лапами.

За окном проплывали призраки петровского рая: повешенный за воровство приказчик, качающийся на ветру со спущенными штанами; груда битого кирпича; пьяный иностранец, испражняющийся прямо на свежавыкрашенный борт фрегата. Мир распадался на слизь и ржавчину. Абсурд бытия зашкаливал: наследник престола полз к врагам, надеясь, что чужая ненависть окажется теплее отцовской любви, пахнувшей пыточной дыбой.

А впереди, за австрийскими горами, уже отчетливо проступал контур Петропавловки. Тяжелые, низкие своды, где капает с потолка ледяная вода, и отец, засучив рукава, ждет своего «блудного сына», чтобы лично проверить, насколько крепки его ребра.

Карета дернулась и покатила в сторону границы, оставляя за собой лишь чавканье грязи и безнадежный, туберкулезный хрип уходящей ночи.

Первое собрание Великой ложи Англии

24 июня 1717 г.

Четыре лондонские масонские ложи встретились в таверне «Гусь и противень». Рождение современного масонства — самой пафосной и влиятельной закулисной организации в мировой истории.

Лондон чавкал под ногами густой, кофейного цвета жижей, перемешанной с потрохами рыб и овечьим калом. Над Сити висел пар — тяжелый, липкий, пахнувший горелой шерстью и кислым элем.

В таверне «Гусь и противень» у собора Святого Павла было тесно так, что воздух казался твердым. Под низким потолком, густо закопченным салом свечей, плавали клочья табачного дыма. Кто-то за угловым столом надрывно харкал в опилки. Гусь на вертеле, лопааясь от жара, брызгал горячим жиром прямо на обшлага кафтанов господ.

Их было четверо — из лож, чьи названия тонули в чавканье жующих ртов: «Яблоня», «Корона», «Виноградная кисть» и вот эта, с гусем.

Энтони Сэйер, человек с лицом цвета сырого теста и глазами, заплывшими от вечного недосыпа, неловко поправил парик. Парик был дешевый, из лошадиного волоса, и в нем явно кто-то жил. Сэйер чесался под мышкой, извлекая оттуда хруст и неопределенное бормотание.

— Объявляю... — просипел он, но голос утонул в грохоте опрокинутой оловянной кружки.

На столе, среди обглоданных костей и липких пятен пролитого вина, разложили засаленный чертеж. Масонство рождалось в испарине. Какой-то дворянин в пропотевшем камзоле, брезгливо отпихивая локтем спящего пьяницу, пытался начертить циркулем круг на забрызганных жиром досках. Циркуль скользил. Великая архитектура Вселенной начиналась с одышки и застрявшего в зубах куска недожаренной дичи.

— Мы теперь... Великая ложа, — прошамкал старик из «Яблони», вытирая рот тыльной стороной ладони. — Архитекторы. Строители.

Где-то наверху, на втором этаже, заскрипели кровати и раздался вульгарный женский смех. С улицы, через узкое окно, доносились вопли разносчика газет и визг свиньи, которую гнали на бойню. Внутри пахло не мистикой, а немытыми телами и прогорклым маслом. Это было величие, вываренное в кухонном чаду.

— Пафос нужен, — прошептал кто-то, вытирая рот рукавом. — Без пафоса не пойдет. Мы же элита. Закулиса.

Один из присутствующих, взобравшись на шаткую скамью, попытался принять пафосную позу, но тут же задел низкую балку головой. Посыпалась известка, белыми хлопьями оседая на плечах, похожих на заснеженные холмы. Все замерли. В этой пыльной тишине Сэйер поднял молоток — ржавый, щербатый инструмент, купленный за грош у соседа-кузнеца.

Удар по столу вышел глухим, немощным. Кость подпрыгнула и свалилась в опилки.

— Избираем... меня... Великим мастером, — выдохнул Сэйер.

Остальные закивали, сосредоточенно ковыряя в ушах и сплевывая на пол. Мир снаружи продолжал гнить, течь и вонять, не подозревая, что в этой тесной, душной утробе, среди обгрызенных гусиных крыльев, только что вылупилось нечто, что назовет себя властелином судеб.

Закулисная власть пахла пережаренным луком. Самая влиятельная организация в истории человечества началась с икоты Великого мастера и хруста раздавленной под столом блохи.

— Пейте, братья, — буркнул Сэйер, — а то прокиснет.

За окном шел дождь, превращая Лондон в одну большую, бессмысленную лужу. Масоны молчали, глядя, как муха тонет в лужице эля на столе. Это было торжественно. Это было невыносимо.

Издание «Путешествия Гулливера» Свифта

1726 год

Самая злая сатира в истории. Пафос в том, что под видом детской сказки Свифт вынес приговор человечеству, показав его пороки через лилипутов и великанов. Это момент, когда литература стала зеркалом, в которое больно смотреть.

В Лондоне шел дождь из сажи и гнилой овсянки. Пастор Свифт сидел в углу, заваленном обрезками сырой кожи и исписанными листами, которые уже начали подгнивать по краям. В комнате пахло нестиранным сукном, чесноком и мочой — вонью самой жизни, которую не спрятать за кружевными манжетами.

Герберт, его слуга, суетился в полутьме, размазывая по лицу жирную копоть. Он пытался поймать жирную крысу, застрявшую в горловине пустого графина. Графин жалобно звякал.

— Напишу, — хриплым, прокуренным голосом бросил Свифт, не глядя на бумагу. — Напишу, как этот дурак Лемюэль ползал в грязи перед их величеством.

На столе у Свифта копошились существа. Это не были сказочные человечки; это были сморщенные, злобные выкидыши в мундирах размером с ноготь. Один из них, крошечный адмирал с гноящимся глазом, яростно тыкал иголкой в палец писателя. Свифт не отдергивал руку. Он с интересом наблюдал, как из крохотной ранки выступает капля густой, почти черной крови.

— Лилипуты, — выплюнул пастор, и слюна повисла на его подбородке серой нитью. — Мы думаем, что они маленькие, потому что они далеко. Нет. Они маленькие, потому что внутри у них — пустота и катышки старой шерсти. Они дерутся из-за того, с какого конца разбивать яйцо, пока их собственные кишки вываливаются в сточную канаву.

В углу заворачалось что-то огромное. Это был великан из Бробдингнега — не величественный титан, а гора потной, пористой плоти. Его кожа была испещрена оспинами размером с блюдца, а из ноздрей вырывался пар, пахнувший пережаренным салом. Великан пытался рассмотреть Свифта через огромное, треснувшее увеличительное стекло, и его глаз, желтый и мутный, казался небом, сошедшим с ума.

— Смотри, Лемюэль, — бормотал Свифт, задыхаясь от кашля. — Они смотрят на тебя и видят паразита. Ты для них — блоха в парике. Ты хвастаешься им своей артиллерией, а они смеются, потому что твои пушки — это просто пуканье в вечность.

В комнате стало тесно. Стены словно разбухли от сырости и сжимались. Лилипуты строили виселицу на краю чернильницы, вешая там муху. Великан икнул, и взрывной волной со стола смело стопку рукописей. Свифт засмеялся — сухим, лающим смехом, от которого заложило уши.

Он взял перо, острое и зазубренное, и вонзил его в бумагу так сильно, что проткнул стол.

— Это будет сказка для детей, — прошипел он, вглядываясь в темноту, где угадывались очертания йеху — концентрированных хомно сапиенсов, совокупающихся в грязи. — Пусть они читают ее перед сном. Пусть привыкают к тому, что их зеркало — это лужа с нечистотами. Мы не люди. Мы просто ошибка природы, наделенная воображением, чтобы острее чувствовать собственный смрад.

Герберт наконец поймал крысу и с хрустом перекусил ей горло. Дождь за окном превратился в липкую слизь. Свифт улыбнулся, обнажив гнилые зубы: приговор был вынесен, обжалованию не подлежал, а пафос утонул в помойном ведре истории.

Ледяная свадьба Анны Иоанновны

6 февраля 1740 г.

Императрица приказала построить на Неве дом из цельных ледяных блоков, где даже мебель и цветы были из льда. По ее приказу «иутовскую свадьбу» князя Голицына и калмычки Бужениновой сыграли в этом ледяном чертоге. Молодоженов заперли там на ночь, приставив стражу. Жестокий и злоеущий пафос абсолютной власти. Это была демонстрация того, что каприз императрицы сильнее законов природы — она могла «создать огонь из льда» (дрова в камине были ледяные и облиты нефтью для горения).

Нева выдохнула серый, колючий туман, перемешанный с гарью и запахом протухшей рыбы. Февраль 1740 года застыл в костистом оскале. Вдоль берега, шлепая по колено в ледяной жиже, тянули возы с морожеными тушами быков; кто-то падал, его лениво били батоном по заиндевавшему кафтану, и звук был сухой, словно ломалась щепка.

Дом стоял посреди реки — срамной кристалл, вымученный из невской воды. Прозрачные стены сочлились неживым, синюшным светом. Внутри, в парадной зале, пахло сыростью и бедой. Анна Иоанновна, грузная, с лицом, напоминающим несвежий ком теста, ткнула пальцем в ледяную кровать. Указательный палец в соболях дрожал.

— Ложись, князь-хан, — просипела она. Голос ее, густой от мокроты, вяз в морозном воздухе. — Жена ждет. Кость к кости, лед к льду.

Князь Михаил Голицын, обращенный в шута «Квасника», стоял в расшитом дурацком колпаке, с которого свисали обледеленные бубенцы. Лицо его, сизое от ужаса и водки, подергивалось. Рядом, вцепившись в его локоть, мелко дрожала Авдотья Буженинова — смуглая калмычка в павлиньих перьях, которые на морозе казались грязным мусором.

Вокруг копошились вельможи в тяжелых шубах, задевая друг друга локтями, харкали на ледяной пол. Кто-то заржал, подавился кашлем. Карлики в масках чудовищ возили по углам ледяные пушки, которые, по капризу государыни, должны были стрелять настоящим порохом.

— Печку-то, печку зажгите! — приказала императрица, облизывая жирные губы.

Шуты кинулись к камину. Дрова там были выточены из чистейшего льда, каждая щепочка — прозрачная смерть. Их облили черной, вонючей нефтью. Огонь вспыхнул мгновенно — рыжий, чадный, злой. Он лизал ледяные поленья, не грея, а лишь заставляя их плакать тяжелыми каплями. Вода шипела, смешиваясь с мазутом, по залу пополз удушливый, черный дым.

Голицына и Буженинову толкнули на ледяное ложе. Постель была вырезана искусно: складки простыней из льда резали кожу даже сквозь платье. Сверху накрыли ледяным одеялом — пудовым, неподъемным монолитом.

— Совет да любовь, — буркнула Анна, уходя.

Тяжелая ледяная дверь захлопнулась с лязгом тюремного засова. Снаружи приставили гвардейцев. Те стояли неподвижно, как алебастровые истуканы, слушая, как внутри, в прозрачном склепе, стучат зубами двое живых людей.

В углу ледяного кабинета на столе стояли ледяные часы, чьи стрелки были навек приморожены к циферблату. Время в этом доме не шло — оно замерзло, превращаясь в мутный налет на стенах. Абсолютная власть пахла здесь не ладаном, а мокрым камнем и обреченностью.

Через прозрачную стену было видно, как на берегу копошатся тени, как падает в снег лошадь, и как горит синим пламенем нефть в ледяных чашах, освещая эту нелепую, злоеущую победу человека над естеством.

«Великая северная экспедиция» Витуса Беринга

8 декабря 1741 г.

Командор Беринг, уже смертельно больной цингой, умирает на необитаемом острове в землянке, засыпанной песком. Он умер, зная, что открыл пролив между Азией и Америкой, но не догадываясь, что остров назовут его именем. Человек, выполнивший волю Петра Великого, погиб на краю света в полной нищете и холоде, совершив один из величайших географических подвигов в истории человечества.

Стены землянки сопливятся мерзлым суглинком. С потолка, подбитого гнилой рогожей, течет не то вода, не то густой кислый дух заживо разлагающегося тела. В углу кто-то монотонно, с хрустом жует сырую конину, чавкая на весь этот тесный, вросший в песок склеп. Командор лежит в воронке, вырытой прямо в полу. Ноги его, раздутые, синие, похожие на обрубки колод, давно потеряли чувствительность, но выше, в паху и под ребрами, копошится острая, колючая жизнь цинги.

Снаружи воеет Камчатка — белая, слепая, равнодушная дрянь. Ветер забивает в щели мелкую, колючую крошку, и она сыплется на лицо Беринга, смешиваясь со щетиной и запекшейся коркой на губах.

— Ваше высокоблагородие, позвольте... — хрипит Свен Ваксель, пытаясь смахнуть серую пыль с груди командора обрывком грязного обшлага.

Беринг шевелит пальцами — медленно, будто вытягивает их из густого дегтя. Его голос — это шорох сухой чешуи:

— Оставь. Не смей. Так греет.

Песок нарастает слоем. Командор сам желает стать частью этого берега, врасти в него, чтобы не чувствовать больше ни воли покойного императора, ни бесконечного, проклятого горизонта. Петр Алексеевич в Петербурге обещал славу и проливы, а выдал только холодную яму и вшей, которые сейчас деловито обживают складки его обветшало-го камзола.

В углу опять чавкнули. Кто-то зашелся в кашле, выплевывая черные сгустки прямо на обрывки навигационных карт. Карты эти здесь — просто старая, жесткая бумага, которой удобно потереть гной.

Беринг смотрит в низкий потолок. Он знает: берега разошлись. Азия отвалилась от Америки, как кусок гнилого мяса от кости. Он протащил эту истину через тысячи верст соленой воды и ледяного ада, чтобы теперь лежать здесь, присыпанный мусором, и чувствовать, как тяжесть земли становится единственным доступным теплом.

Смерть приходит не как ангел, а как усталый квартирмейстер: грубо, с запахом залежалой рыбы и табачного перегара. Беринг закрывает глаза, и песок окончательно скрывает золотое шитье на его воротнике. Великий подвиг завершается в тихом хлопанье грязи и шорохе осыпающейся стены. На безымянном куске суши, посреди ледяного нигде, остается только бугорок, который ветер скоро сравняет с общим унылым ландшафтом.

Появление шкалы Цельсия

1742 год

Андерс Цельсий предложил делить интервал между замерзанием и кипением воды на 100 градусов. Пафос в создании универсального языка физики: теперь ученые в разных концах мира могли понимать друг друга, обсуждая тепло и холод.

Слякоть в Уппсале была густой, как несвежий кисель. Она чавкала под сапогами, цеплялась за обшлаги кафтанов, лезла в рот вместе с сырым туманом. В обсерватории пахло не звездами, а прогорклым жиром, мокрой шерстью и кошачьей мочой.

Андерс, худой, с лицом цвета невымытой репы, сидел в углу, заваленном грудями ржавого железа и битого стекла. У его ног кто-то долго и мучительно кашлял, укрывшись рогожей. С потолка капало — размеренно, прямо в медный таз, и этот звук ввинчивался в виски, как штопор.

— Поймут ли? — прохрипел ассистент, чье лицо наполовину скрывала грязная повязка.
— В Париже поймут? В Петербурге, где бороды рубят вместе с мясом?

Цельсий не ответил. Он засунул палец в чан с тающим снегом. Снег был серый, перемешанный с голубиным пометом.

— Здесь будет сто, — сказал он, и голос его прозвучал как скрип несмазанной телеги.
— Сто. Смерть воды. Покой.

Он ткнул пальцем в сторону кипящего котла, над которым клубился едкий пар, воняющий щелоком.

— А там — ноль. Жизнь. Бурление. Бешенство.

(Он еще не перевернул шкалу; он любил эту извращенную логику, где кипение — это начало счета, а лед — его венец).

В коридоре послышался грохот. Кто-то протащил что-то тяжелое, сопровождая это длинным, бессмысленным ругательством. Дверь распахнулась, впуслав струю ледяного воздуха и пьяного карлика в ливрее, который нес поднос с застывшим салом. Карлик споткнулся о чью-то ногу, выругался и выронил поднос. Сало шмякнулось в грязь.

— Вот вам и физика, — пробормотал ассистент, вытирая нос грязным рукавом. — Один язык...

Цельсий взял гусиное перо. Оно было обломано и царапало бумагу, оставляя кляксы, похожие на раздавленных насекомых. Он рисовал черточки. Одну за другой. Ровные, безжалостные.

— Теперь, — Андерс поднял глаза, и в них отразилась вся безнадежность шведского неба, — когда мы скажем «тридцать семь», человек в Турине или в Лондоне почувствует ту же самую тошноту, ту же лихорадку, что и мы здесь. Это единство, дурак. Мы заперли хаос в сотню делений.

За окном кто-то закричал, потом послышался плеск и чавканье — видимо, кто-то упал в канаву. Ученый приставил стеклянную трубку к свету тусклой сальной свечи. Внутри дрожала ртуть — живая, ядовитая, готовая впитать в себя жар человеческого тела или холод могилы.

— Сто делений, — повторил он, и на его губах появилась кривая, почти болезненная усмешка. — Общий аршин для всех покойников Европы.

Он снова окунул перо в чернильницу, в которой плавала дохлая муха, и поставил точку. Над Уппсалой пошел снег — липкий, серый, не знающий, к какому градусу себя отнести.

Битва при Фонтенуа

11 мая 1745 г.

Французская и английская гвардии сошлись на расстоянии 50 шагов. Французский офицер д'Отрош снял шляпу и крикнул врагам: «Господа английские гвардейцы, стреляйте первыми!». Англичане ответили: «Нет, господа, стреляйте вы!». Это пик «войны в кружевах». Невероятное сочетание смертоубийства и джентльменского этикета, которое невозможно представить в современном мире.

Туман стоял такой густой и жирный, что казался разлитым в воздухе киселем, смешанным с конским потом и гарью. В этом белесом месиве, где-то между небом и раскисшей пашней, копошились люди.

Граф д'Отрош, пошатываясь, шел по колено в грязи. Его роскошный мундир был забрызган чем-то бурым, а кружевное жабо, пропитавшись сыростью, обвисло, как мокрая тряпка на кухонном столе. Рядом, хрипя и пуская слюну, протаскивали раненого барабанщика; мальчишка цеплялся пальцами за скользкие стебли увядшей травы, оставляя в черноземе глубокие борозды.

Из тумана, словно видения, выплыли красные мундиры. Англичане. Они стояли плотно, плечом к плечу, источая запах немых тел и дешевого табака. У одного из офицеров на кончике носа дрожала крупная капля слюны.

Д'Отрош остановился. Расстояние — пятьдесят шагов, но в этом вязком мареве казалось, что можно дотянуться и ткнуть пальцем в чужое, небритое лицо. Сбоку кто-то надсадно кашлял, выплевывая легкие на сапоги соседа. Грязь чавкала под ногами, принимая в себя нечистоты и случайные пуговицы.

Граф медленно, с каким-то оцепенелым изяществом, потянулся к своей треуголке. Шляпа была тяжелой от влаги. Он снял ее, обнажив потную лысину, по которой ползла сонная, одуревшая от грохота муха.

— Господа английские гвардейцы, — просипел он, и голос его сорвался на нелепый фальцет, — стреляйте первыми!

С той стороны, из строя красных кафтанов, дохнуло перегаром и высокомерием. Английский капитан, чей парик съехал набок, обнажив багровый шрам на виске, криво усмехнулся. В его глазах отражалось безнадежное понимание абсурда происходящего.

— Нет, господа, — отозвался он, сплевывая густую слюну под ноги. — Стреляйте вы! Мы подождем, пока вы закончите свой туалет.

Где-то в глубине французских рядов взвизгнула лошадь. С неба посыпалась мелкая, липкая крупа, похожая на перхоть. Мушкетеры, эти тяжелые железные палки, казались нелепыми в руках людей, затянутых в узкие, сковывающие движения корсеты и кюлоты.

Д'Отрош обернулся к своим. Солдаты стояли с открытыми ртами, ловя языками влагу. Лица их были серыми, как старый холст.

— Они не хотят, — пробормотал граф, обращаясь к пролетающей вороне. — Какая нелепость. Какая невыносимая, вежливая скука.

Он снова надел шляпу, придавив муху. В этот момент мир окончательно утонул в запахе мокрой шерсти и предчувствии близкой, очень неопытной смерти, которая начнется сразу после того, как кто-то, наконец, решится нарушить эту нелепую тишину первым выстрелом в упор.

Спор Ломоносова с Миллером

1749 г.

«Дуэль» в Академии наук, где Михайло Ломоносов яростно отстаивал славянское происхождение Руси против «норманнской теории». Момент зарождения национального пафоса в русской исторической науке.

В зале Академии пахло мокрым собачьим мехом, прокисшими чернилами и старым воском. В углу, за массивной голландской печью, кто-то мелко и натужно кашлял в кулак, сплевывая на паркет вязкую серую слизь. Свет из высоких, засиженных мухами окон падал мутными столбами, в которых лениво плавала пыль, похожая на костяную крошку.

Миллер, узкий, как селедочный скелет, стоял у кафедры. Его парик, присыпанный дешевой пудрой, съехал набок, обнажая розовое, пульсирующее ухо. Он читал «Происхождение имени и народа российского» — читал сухо, с надрывным присвистом, вколачивая латинские термины в спертый воздух кабинета, словно гвозди в крышку гроба.

— ...Scandinavia... Normanni... — шелестел его голос, перебиваемый скрипом чьего-то пера и отдаленным воем ветра в дымоходе.

Михайло, распухший от несварения и ярости, сидел, вцепившись пальцами в край стола так, что побелели костяшки. Его кафтан, тесный в плечах, лопнул подмышкой, являя миру клочок засаленной рубахи. Лицо Ломоносова, изрытое оспой и багровое от прилившей крови, казалось вырубленным из сырого известняка. Он тяжело дышал, и каждый его выдох отзывался свистом в заложенных ноздрах.

— Лжешь, немчура, — прохрипел Михайло. Звук был негромким, но в наступившей тишине он прозвучал как хруст кости под сапогом.

Миллер осекся. Поправил очки с толстыми, желтоватыми линзами. В них отразился искаженный, капающий потом зал.

— Herr Lomonossow, регламент... — пискнул секретарь, маленький человечек с лицом, похожим на сушеную грушу, ковыряя в ухе длинным ногтем.

Ломоносов поднялся. Стул за его спиной с грохотом повалился, задев ведро с грязной водой, приставленное к печи. По полу потекла темная жижа.

— Ты Русь-матушку в чухонский сарай запихнуть хочешь? — Михайло шагнул вперед, тяжело переставляя отекающие ноги. — У тебя в башке не мозги, а опилки с кислым рейнвейном! Славяне до твоих шведов города ставили, когда вы еще в медвежьих шкурах вшей кормили!

Он приблизился к Миллеру почти вплотную. От Ломоносова пахло чесноком, дегтем и великой, неподъемной тоской. Он схватил со стола рукопись Миллера — листы, исписанные мелким аккуратным почерком, — и смял их в кулачище, превращая «норманнскую теорию» в грязный ком.

— Мы от сарматов! От крови великой! — рывкнул он прямо в бледное лицо академика. — А ты нам — варягов-проходимцев? Ты нам — милостыню вместо истории?!

В зале засуетились. Кто-то заскулил, кто-то начал торопливо креститься. Пожилой профессор в углу уронил челюсть прямо на протокол, и она клацнула по дереву, как костяшки домино.

Ломоносов замахнулся скомканной бумагой, словно собирался затолкать ее Миллеру в глотку. Его глаза, налитые желчью и гордостью, смотрели куда-то сквозь оппонента, в серые болота, в бескрайнюю хмарь, где рождался хриплый, злой и прекрасный крик нового народа.

Миллер икнул. Из его носа медленно, по-предательски выползла капля прозрачной слизи.

А за окном, в петербургской полутьме, по колено в грязи брела тощая корова, таща за собой обрывок веревки, и колокол на колокольне бил так редко и тяжело, будто отпевал саму истину.

Возникновение системы Линнея

1750 год

Карл Линней опубликовал «Философию ботаники». Пафос триумфа классификации: он навел порядок в хаосе природы, дав каждому живому существу двойное имя на латыни (например, *Homo sapiens*). Человек стал официально числиться в каталоге природы.

Свет был густой, как несвежий жир, он застревал в немых стеклах Уппсальского университета. В коридорах пахло мокрым сукном, жженой костью и кислым человеческим потом. С потолка, облупившегося от сырости, свисала дохлая выпь, набитая трухой; из ее клюва сочилась мутная тишина.

Карл Линней, грузный, в испачканном мелом камзоле, сидел за столом, заваленным гербарными листьями. Листы хрустели под его ладонями, точно сухая кожа покойников. Рядом, в тени, сопел ассистент — юноша с водянистыми глазами и вечным флюсом на щеке. Он поминутно вытирал нос засаленным рукавом и соскребал ногтем присохшую грязь с корня мандрагоры.

— Пиши, — прохрипел Линней. Голос его напоминал скрежет железа по камню. — Хватит им безымянного копошения. Хватит этой свалки Господней. Мы вставим им в пасть железные удила латыни.

Он схватил со стола жука — черного, блестящего, еще шевелящего лапками в предсмертной тоске.

— *Carabus*, — выплюнул Линней, и капля слюны упала на панцирь насекомого. — *Carabus hortensis*. Теперь он не просто тварь, ползающая в навозе. Теперь он — адрес в моем гроссбухе.

В углу комнаты, в большой лохани, копошилось нечто неопределенное: не то обезьяна, не то юродивый, притащенный с рыночной площади для обмера. Существо чесалось, издавая звуки, похожие на кашель застарелого курильщика. В воздухе плавали пылинки, тяжелые, как дробь.

Линней поднялся, кряхтя и потирая поясницу. Подошел к зеркалу, засиженному мухами. Он долго вглядывался в свое отражение — в эти мешки под глазами, в сальную кожу, в поры, из которых, казалось, вот-вот прорастут споры мха.

— И этого тоже... — пробормотал он, ткнув пальцем в стекло. — В клетку. В каталог. Рядом с orangutanгом и ленивцем. Назовем его так, как заслуживает это вонючее создание. *Homno*.

Он взял перо, обгрызенное на конце, и с усилием вывел на пергаменте: *Homno sapiens*.

— Гомно, значит, но разумное, — донесся из угла едкий шепот ассистента. Тот как раз пытался отобрать у «разумного» из лохани зажатую в кулаке тухлую селедку.

Линней не обернулся. Он чувствовал, как мир сжимается до размеров его переплета. За окном в грязи барахтались свиньи, звенели колокола, кто-то выл на конюшне, а здесь, в удушливом полумраке, хаос умирал, приколотый булавкой к аккуратному латинскому слову. Бог создал, а Линней — расставил по полкам. И от этой окончательности пахло не триумфом, а формалином и старым подвалом, из которого нет выхода.

— Теперь порядок, — сказал он, вытирая пальцы о скатерть, на которой отпечатались жирные следы истории. — Теперь все на своих местах. Даже мы.

Великое Лиссабонское землетрясение

1 ноября 1755 г. (09:40 утра)

В День всех святых, когда храмы были полны людей, город был разрушен толчками, а затем смыт цунами. Это событие заставило философов Просвещения (Вольтера, Канта) усомниться в «добром божественном провидении». Момент интеллектуального слома всей Европы.

Утро Дня всех святых в Лиссабоне пахло прогорклым жиром, ладаном и нечистотами, застоявшимися в узких щелях между домами. Воздух был густым, как кисель, в нем плавали пух, зола и чей-то кашель.

В соборе Святого Викентия толпа спрессовалась в единую потную массу. Старухи в черном, похожие на общипанных ворон, совали четки в лица соседям; жирный священник, у которого из ноздри рос куст седых волос, заученно бубнил латынь, брызгая слюной на золоченый оклад. В проходах юродивый в рваном камзоле сосредоточенно ковырял в ухе гвоздем.

Гул пришел не сверху, а из-под сапог. Сначала это было похоже на рокот огромного пустого кишечника. Потом земля икнула.

Свод собора лопнул с сухим, почти будничным хрустом. На молящихся посыпалась каменная труха, перемешанная с голубиным пометом и ангельскими крыльями из папье-маше. Кто-то закричал, но звук мгновенно забило пылью. Тяжелое паникадило, медленно вращаясь, рухнуло в гущу кружевных воротников, превращая их в кровавую кашу. Ирония была в том, что свечи не погасли — они деловито принялись лизать подола парчовых юбок.

На улице хаос выглядел скучно и грязно. Из разбитых окон вываливались перины, домашняя птица и недоеденные завтраки. Дворянин в сбитом парике, прижимая к груди серебряную супницу, пытался перешагнуть через корчащегося нищего, чьи ноги были придавлены куском карниза. Нищий цеплялся за пряжки его туфель, оставляя на коже грязные разводы.

— Господь милостив, — прошамкал прохожий, выплевывая выбитый зуб.

Второй удар вывернул город наизнанку. Дворцы оседали, как подмокший сахар. В порту вода вдруг ушла, обнажив илистое дно, усеянное разбитыми горшками и скелетами утопленников. Корабли завалились на бок, точно пьяные. А потом горизонт вздулся.

Цунами пришло не величественной волной, а рычащей стеной из жижи, щепок и мертвой рыбы. Оно всосало в себя прибрежные кварталы с чавкающим звуком, будто огромный рот проглотил ложку супа.

В Париже Вольтер, кутаясь в облезлый мех, уронил перо в чернильницу. Оптимизм Лейбница теперь выглядел как плохая шутка, рассказанная в морге. Если это «лучший из миров», то Бог — либо безумный декоратор, либо его просто нет дома, а ключи он оставил глухому палачу.

В Лиссабоне тем временем из-под завалов торчала чья-то рука, сжимающая четки. На палец руки присела муха и начала методично чистить лапки. Европа замолчала, прислушиваясь к этому шороху.

Афера графа Сен-Жермена при дворе Людовика XV

1758 г.

Загадочный человек объявил, что ему 500 лет, он знал Понтия Пилата и умеет выращивать алмазы. Его пафос был настолько убедителен, что король доверил ему государственные тайны. Символ эпохи, когда личное обаяние было сильнее родословной.

Зеркала в Версале запотели от испарений немытых тел и жирного кухонного чада, ползущего из подвалов. В анфиладах тесно, как в нутре дохлого кита. Кто-то задел плечом подсвечник; горячий воск капнул на камзол, смешиваясь с пудрой и засохшей подливкой. Пахнет прогорклым маслом, несвежим париком и испугом.

Король сидит в углу, вжавшись в высокую спинку кресла. У Людовика течет из носа; он вытирает лицо обшлагом, размазывая белила. Перед ним — Человек.

Человек черен, как обугленное полено в камине. На нем кафтан, расшитый тусклым серебром, которое в этой липкой полутьме кажется рыбьей чешуей. Его лицо — нагромождение глубоких морщин, в которых застряла вековая пыль. Он пахнет не духами, а старым склепом и чем-то острым, алхимическим, от чего свербит в горле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.